



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

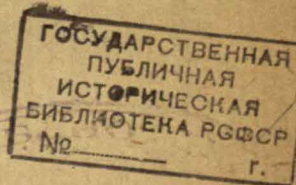
П 17

ДЖОВАННИ ПАПИНИ

GIOVANNI PAPINI

# КОНЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПЕРЕВОД Р. ДА-РОМА  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
А. Л. ВОЛЫНСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА — МСМХХІІІ — ПЕТРОГРАД

КОНЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

UN UOMO FINITO

Петрооблит № 5985      Зак. № 689.      Гиз. № 4952      Печ. 5.150 экз.

Государств. типография им. Евг. Соколовой, Петроград, Измайловск. пр., 29.



## ANDANTE

Tu non se' morta, ma se' ismarrita,  
Anima nostra che si ti lamenti.

Dante

### ПОЛУ-ПОРТРЕТ

Я никогда не был ребенком. У меня не было детства.

Светлые, жаркие дни юношеского опьянения, безмятежная ясность невинности, радость ежедневно открывать вселенную — где все это? Не знаю и не помню. Я узнал их из книг, позже; угадываю их теперь во встречающихся мне юношах; сам же я почувствовал и испытал их впервые, когда мне было уже двадцать, в счастливый редкий миг не то примирения, не то усталости. Юность это — любовь, это — радость, это — беззаботность, а я вижу себя в прошлом всегда одиноким, грустным, задумчивым.

С самого раннего детства я чувствовал себя страшно одиноким и не похожим на других — почему, сам не знаю. Потому ли, что семья моя была бедна, или потому, что таким уж я уродился? Не знаю. Помню только, что моя молоденькая тетка прозвала меня, когда мне было шесть или семь лет, „старичком“; и все мои родные одобрили это прозвище. И в самом деле, я почти всегда был серьезным, хмурым; говорил я очень мало, даже с



другими детьми; когда меня ласкали, мне было скучно; шутки меня раздражали; неугомонным шалостям товарищей нежных дней детства я предпочитал одиночество самых укромных уголков нашего маленького, бедного, темного дома. Короче говоря, я был тем, что дамы в шляпах называют „неприветливый ребенок“, а женщины в платочках — попросту „жаба“.

И они были правы. Я должен был всем казаться — и действительно был — чрезвычайно несимпатичным. Помню, я прекрасно чувствовал вокруг себя эту всеобщую ко мне антипатию, и это делало меня еще более робким, еще более грустным, еще более хмурым.

Если мне случалось попадать в среду других детей, я почти никогда не принимал участия в их играх. Я любил стоять в стороне и смотреть на них своими строгими зелеными глазами, недружелюбным критическим взглядом. Не из зависти; то, что я испытывал в такие минуты, было скорее презрением. С тех самых пор началась война между мною и людьми. Я их избегал, они меня игнорировали; я их не любил, они меня ненавидели. На прогулке, в саду меня гнали, надо мною насмехались; в школе меня дергали за волосы или доносили на меня учителю; на даче, даже на вилле у деда, крестьянские ребята бросали в меня камнями, — хотя я никому из них не сделал зла, — будто чувствовали, что я принадлежу к иной, чуждой им расе. Родные подзывали меня к себе и ласкали меня только тогда, когда этого нельзя было избежать, когда боялись, что посторонние упрекнут их в чересчур явном безразличии; я же прекрасно понимал, что это только притворство, что они

заставляют себя делать это, прятался от них, молчал или отвечал грубо и резко на каждое их слово.

Особенно отчетливо запечатлелось в моем сердце одно воспоминание: дождливые ноябрьские или декабрьские воскресные вечера в доме деда; на столе, под большой керосиновой лампой из бронзы, горячее вино в суповой миске; подле нее поднос с жареными каштанами; вокруг стола в сборе вся семья — дяди и тетки, огромное число моих двоюродных братьев и сестер, все с покрасневшими лицами.

У огня седой веселый патриарх пьет и смеется. Трещат поленья, подернутые золой; звенят стаканы и тарелки; тетки, ханжи и сплетницы, визжат, рассказывая про очередные скандалы; в голубом дыму отцовских сигар раздаются хохот и крики детей. У меня же от этого шумного, дешевого, идиотского пиршества болела душа и голова. Чужим и далеким чувствовал я себя среди них. И при первой возможности я, крадучись, выходил и осторожными шагами пробирался вдоль сырой стены по длинному, темному коридору к выходу. При этом, мое маленькое сердечко отшельника билось тоскливо, будто я собирался совершить величайший проступок, гнуснейшее предательство. Стеклаянная дверь вела из этого коридора в маленький открытый дворик; я слегка приотворял ее и слушал, как устало и неохотно течет вода, отскакивая от плит, собираясь в лужи, без энтузиазма, без порыва, с медленным, отвратительным упорством чего-то, что никогда не кончится. С холодным лицом и влажными глазами я прислушивался в темноте к журчанию воды, и когда вырвавшиеся из струи капли внезапно обдавали меня своей свежестью, я чувствовал



себя счастливым, словно эта капризная струя очищала меня, звала меня далеко от дома и от воскресных празднеств. И вдруг резкий голос пронизывал тьму и призывал меня на свет, на муки, на обывания: „Что за несносный мальчик!“

Да, это правда; я никогда не был ребенком. Задумчивый и неприветливый, я был „старичком“, был „жабой“. Уже тогда лучшая часть моей жизни протекала внутри меня. Уже тогда, отрешенный от людских привязанностей и радостей, я уединялся, укрывался, сосредоточивался в себе, в своей душе, в жадном фантазерстве, в одиноком переживании своего „я“ и мира, прошедшего через призму моего „я“. В этом было все мое спасение, вся моя радость.

Я не нравился людям, и ненависть заставила меня замкнуться в моем одиночестве. Одиночество же сделало меня еще более печальным, еще более неприятным; печаль замкнула мне сердце и растравила мозг. Я был не похож на других, и это оторвало меня даже от моих близких; а одиночество делало меня еще более отличным от окружающих. Уже тогда, на заре жизни, я начинал испытывать, если не понимать, мужественную слабость той бесконечной и неопределенной грусти, что не знает излияний и утешений, что исчерпывается сама в себе, без всякой цели, создавая мало по малу привычку к внутренней, одинокой, уединенной, эгоистической жизни, навсегда удаляющей от людей.

Нет, я никогда не знал детства. Я совершенно не помню себя ребенком. Я вижу себя задумчивым, молчаливым, одиноким дичком, неспособным улыбнуться, неспособным беззаботно рассмеяться. Я

вижу себя бледным и неуверенным, как на моем первом портрете.

Фотография разорвана пополам, у самого сердца. Она маленькая, грязная, вылинявшая; края картонки, на которую она наклеена, черны, как траурная рамка. Полинявшее личико ребенка-мечтателя смотрит влево, и чувствуется, что там налево, перед ним, никто на него не смотрит. Глаза грустные, слегка запавшие — хорошо ли они вышли? — рот упрямо закрыт, губы сжаты, чтобы не видно было зубов. Единственное украшение: длинные, мягкие кудри, ниспадающие на воротник матроски...

Мама говорит, что это я семи лет. Может быть... Этот кусочек карточки — единственное доказательство моего детства. Но неужели же это портрет ребенка, — этот маленький бледный призрак, который не смотрит на меня, не хочет смотреть ни на кого?

Сразу видно, что эти глаза созданы не для того, чтобы окрашиваться лазурью небес: они серы, собственные облака заволакивают их. Эти щечки — сразу видно, что они бледные, бескровные и что бледными они останутся навсегда: красными они сделаются только от стыда или напряжения. А эти губы сжаты, намеренно сжаты, и не созданы для того, чтобы раскрываться для смеха, для речи, для молитвы, для крика. Это сжатые губы того, кто будет страдать без скучной слабости излияний. Это губы, которых поцелуй коснется слишком поздно.

В этом полинявшем обрывке фотографии я нахожу умершую душу тех дней; худенькое личико „жабы“; наспуленные брови „неприветливого ребенка“; тихую грусть „старичка“. И так больно



сжимается сердце, когда я вспоминаю об этих потускневших в моей памяти днях, об этих бесконечных годах; об этой замкнутой жизни, о беспричинной грусти, о неизгладимой тоске под другими небесами, среди других людей.

### СОТНЯ КНИГ

От этого беспросветного одиночества меня спасла жажда знания. С тех пор, как, строка за строкой, я овладел тайной азбуки (массивные черные или маленькие жирные буквы, добросовестно вырезанные на дереве; далекие, прохладные зимние вечера под керосиновой лампой с разрисованным голубыми и оранжевыми цветами абажуром; подле меня, согнувшись над чем-то, сидит мама, одна, молодая, с черными волосами, в которых играют отблески света), — я не знаю большей радости, лучшего утешения, чем чтение. Самые ясные и трогательные воспоминания того времени связаны у меня не с первой матросской шапочкой из голубого бархата, не с апельсинами, которые так приятно высасывать на ограде зеленого от водорослей фонтана, не с горячими лошадьми, напрасно гарцующими на деревянной дощечке и даже не с первые испытанной дрожью при виде бегущей девочки с полуоткрытым от замирающего дыхания ртом. Зато у меня до сих пор свежа в памяти моя детская страсть к моей первой или второй школьной книжке — жалкой, глупой хрестоматии, переплетенной в желтенький картон, на котором примерный мальчик, пухленький и серьезный, в

рубашонке, на коленях в своей железной кровати, читает ту самую молитву, что я по складам разбирал под картинкой. С еще большей грустью мне вспоминается нечто в роде Тысячи и Одной Ночи природы; это была огромная книга с растрепанным зеленым корешком, с широкими, длинными, измятыми, порыжевшими от сырости, местами разорванными и закапанными чернилами страницами; но открывая ее, я был уверен, что увижу уже знакомые мне, и вечно новые чудеса. Вот причудливым узором сотканное морем грандиозные осьминоги с жесткими круглыми глазами нападают на большие океанские парусные судна; высокий юноша с развевающимися волосами, коленопреклоненный на вершине горы, отбрасывает на темное немецкое небо свою огромную тень; в глубине узкого и темного испанского ущелья с высокими, крутыми склонами, едет маленький всадник, едва освещенный одним, испуганным этим молчанием пропасти, высоким солнечным лучем; китайский божок, с умильным лицом, голый, с тряпкой на бедрах, с резцом в одной руке и молотком в другой, заканчивает устройство мира в хаосе целого леса застывших сталактитов, выросших из земли; гордый исследователь, весь закутанный в меха, водружает большой черный флаг, развевающийся от ветра, на краю мыса, над белым, пустынным, разъяренным Полярным морем... Перелистываю дальше пожелтевшие страницы, и передо мной вдруг появляются тупые лица настоящих полинезийцев; коралловые острова, лежащие на море, как мелкие плоты; жуткие кометы, плавающие в беспредельном ужасе огромного чернильного неба, и фантастические скелеты колоссальных пресмыкающихся...



Помню, в числе первых книг, попавшихся мне, было лубочное поругание памяти Гарибальди. Я плохо понимал его, но читал и перечитывал без конца, инстинктивно возбуждаясь от запаха пыли, от блеска сабель, от красивых кавалькад бандитов и победителей. Ничего определенного у меня в мыслях при этом не было, и я ничего не знал ни об Италии, ни об ее войнах, все же я изливал свое волнение в том, что изображал бородатое лицо генерала на заглавном листе книги и мне казалось, что он оживает, что он не далеко. Одним из божественных моментов моей жизни было, когда я сделался полноправным владельцем домашней библиотеки. Отцовская библиотека состояла из грубой лубковой корзины, в которой хранилось около ста томов. Корзина эта стояла в глубине дома, в укромной комнатке с окнами на крышу — настоящая Альгамбра моих первых грез. Чего только там не было? Дрова, старые тряпки, мышеловки, воробьиные клетки, винтовки национальной гвардии и изъеденная молью красная рубашка с медалью шестидесятого года.

Там я запирался каждый день, едва освободившись от занятий, и одну за другой, с величайшей осторожностью и восторгом, вытаскивал на свет божий забытые книги. Разрозненные, растрепанные, грязные томы, загаженные мухами и голубями, изорванные и измятые и все же столь щедрые для меня неожиданностями, чудесами и обещаниями! Я начинал читать то одну, то другую; с трудом разбирал написанное, не всегда понимал, утомлялся, снова приступал; в конце концов все бросал, но постоянно был охвачен нетерпеливым волнением, и едва я приближался к этим мирам поэзии, исто-

рии, приключений, как одна какая-нибудь фраза, один образ в миг внезапно освещали мой девственный мозг. Я не только читал: я мечтал, я продуывал, перестраивал, пытался разгадать неразгаданное. Все эти книги были для меня священны, и я слепо верил всему, что в них было написано. Я не умел отличать истории от легенды, фактов от вымысла. Печатные буквы были в моих глазах непогрешимыми свидетелями истины.

Реальная жизнь была для меня не в школе, не на улице, не в доме, а скорее в этих книгах — там, где я чувствовал, что живу интенсивнее. В жаркий летний полдень мне виделся Гарибальди, скачущий, с развевающимися от ветра плащом, то среди своих стад в пампасах, то под выстрелами; дождливым скучным утром мне являлся граф Альфиери, среди своих лошадей и стихов сыпавший ругательствами по всем почтовым дорогам Европы; а вечерами я весь дрожал от патриотической ненависти и риторического неистовства вместе со славными героями крошечного Плутарха, изданного в нескольких томиках, в обложках шафранового цвета.

Эти же книги дали мне первый толчок к размышлению. На дне этой чудесной корзины я нашел пять-шесть зеленых книженок (вольтерианскую путаницу какого-то компилятора рационалиста), в которых низвергались бог и святая теология и высмеивались библейские рассказы и католические священники. В числе сваленных в этой книжке в одну кучу вещей был и гимн сатане Кардуччи; с тех пор я стал больше любить этого непокорного ангела, чем величественного старца в небесах. Позже я понял, что эта безбожная апологетика была грубой и шаткой, но ей я обязан тем, что — пло-



хотели хорошо ли — но я сделался человеком, для которого бог никогда не существовал. Сын атеиста, крещенный тайком, выросший без месс и проповедей, я никогда не испытывал того, что принято называть „душевым кризисом“, „ночами Жюфруа“ или „открытием смерти бога“. Для меня бог никогда не умирал, ибо в моей душе он никогда не жил. Нужно же, чтобы кто-нибудь да начал так рождаться и жить, как я.

Еще одна книга оказала большое влияние на мой ум в то время и, следовательно, навсегда — Похвала глупости Эразма Роттердамского. У нас нашлось итальянское издание этой книги, с сухими, остроумными иллюстрациями Гольбейна, и я перечитывал ее с неописуемым удовольствием. Эразму я, быть может, обязан своей страстью к абсурдным темам и странным идеям и глубоким убеждением в том, что люди — подлецы, если только они не идиоты.

### МИЛЛИОН КНИГ

Какой-нибудь год нелепого и беспорядочного чтения убедил меня в том, что немногие книги, которые имелись в доме, и столь же немногие, которые я мог добыть из скудных библиотек родных и знакомых или покупать в подержанном виде на чентезимы, сбереженные на завтраках, или на украденные у матери солди, были недостаточны. От одного мальчика, немного побольше меня, я узнал, что в городе были очень большие, богатейшие библиотеки, открытые для всех, куда в положенные часы можно пойти, потребовать

любую книгу и, что было еще важнее, ничего за это не платить. Я решил тотчас же пойти туда. Было, впрочем, одно затруднение: чтобы попасть в этот рай, нужно было иметь, по крайней мере, шестнадцать лет от роду. Мне было всего двенадцать или тринадцать, но для своего возраста я был даже слишком высокого роста. В одно июльское утро я решил попробовать. Весь дрожа, я поднялся по лестнице, показавшейся мне широкой и парадной. Две-три минуты неуверенности, замирание сердца, и я в зале требований; заполнив кое-как свой листок, я представил его со смущенным и подозрительным видом человека, сознающего свою вину. Чиновник — до сих пор помню его — будь он проклят! — маленький человек с большим животом, двумя голубыми, как у мертвой рыбы, глазками и злыми складками по сторонам рта, с снисходительным видом смерил меня всего взглядом и противным протяжным голосом спросил:

— Простите, а сколько вам лет?

Я весь покраснел, больше от досады, чем от стыда, и ответил, прибавив себе три года:

— Пятнадцать.

— Этого недостаточно. Очень жаль. Прочтите правила. Приходите через год.

Униженный, раздосадованный, весь разбухший от детской ненависти к этому ужасному человеку, преградившему мне, бедному, так жаждавшему знаний, свободный доступ к миллиону книг, подло укравшему у меня, во имя написанной цифры, целый год света и радости, вышел я из библиотеки. Входя туда, я успел разглядеть длинную, широкую залу с величественными, обитыми зеленым



сукном креслами, а кругом книги, книги, старые, толстые, большие книги с пергаментными и кожаными корешками и золотыми украшениями: чудеса! И в каждой из этих книг скрывалось то, чего я искал, та пища, что была как раз для меня: рассказы об императорах и поэмы о битвах, биографии людей-полубогов, священные книги о вымерших народах, все науки обо всем, стихи всех поэтов и системы всех философов. И все эти тысячи будущих благ, начертанные золотыми буквами, предназначались для меня: стоило мне приказать, и все эти книги, ожидавшие меня под пылью, за густой сеткой шкафов, спустятся ко мне, и я смогу открывать их, перелистывать, поглощать, сколько мне заблагорассудится.

Не прошло и года, как я решил сделать вторую попытку. И на этот раз меня постигла неудача. Чтобы преодолеть препятствия, пришлось выждать до следующего лета. Мне было немногим больше тринадцати лет — может быть, тринадцать с половиной.

Вместе с другим мальчиком постарше, уже давно без всяких затруднений ходившим туда, я, наконец, прошел. Чтобы не обратить внимания и не показаться ребенком, ищущим забавы, я спросил серьезную, научную книгу — труд Капестрини о Дарвине.

На этот раз за деревянной перегородкой со стеклами находился другой чиновник — высокий, худой тип, похожий на общипанную птицу. У него были грубые движения, и он ни минуты не стоял спокойно. Не глядя на меня, он взял мое требование, сделал на нем пометку синим карандашом и передал, не говоря ни слова, стоявшему подле него мальчишке.

Мне пришлось прождать полчаса, и все это время я терзался в страхе, что книги этой не окажется или что ее не пожелают дать мне. Когда ее принесли, я сжал ее под мышкой и сконфуженно, на носках вошел в огромный читальный зал. Я никогда ни испытывал такого ощущения святости, ни даже в церкви в детстве. Как бы испуганный своей смелостью, заведшей меня так далеко, что я все-таки попал в это гиганское святилище науки всех веков, я уселся на первый попавшийся мне свободный стул. Мое смущение, радость и удивление были так велики, так сильно было во мне смущение, будто я сразу вырос, сразу стал мужчиной, что в течение почти часа я не понимал, что было написано в лежавшей передо мной книге.

Мне все казалось здесь величественным, как национальная святыня. Эти запачканные кресла, покрытые зеленым сукном, на котором слинявший зеленый цвет переходил в желтый или скрывавшийся под черной грязью, были в моих глазах пышными, как троны, а глубокая тишина отзывалась в моей душе торжественнее, чем в соборе.

С этого дня я стал приходить туда ежедневно, как только освобождался от скучнейших школьных занятий. Мало-по-малу я привык к этой огромной комнате, с ее высоким потолком, расстилавшимся над моей включенной головой небрежного юноши, к царившей в ней тишине, к бесконечному богатству старых и новых книг, газет, журналов, брошюр, атласов, кодексов и рукописей. Я очень скоро сделался там своим человеком, изучил лица библиотекарей, познакомился с секретами обозначений, проник в тайны каталогов,



научился узнавать лица страстных и верных, как я, посетителей, приходивших ежедневно, аккуратно и нетерпеливо, как на любовное свидание.

Очертя голову, я бросился в омут чтения. Я читал все, что мне давала в руки моя бившая ключем любознательность, книги, заглавия которых встречались мне в других книгах, книги, которые я видел в окнах магазинов и на прилавках букинистов; без опыта, без руководителя, без всякой определенной цели, но со всем неистовством и пылом страсти, я вступил на трудный и прекрасный путь энциклопедиста.

#### ОТ ВСЕГО НИ К ЧЕМУ

Чему я хотел научиться? Что делать? Я и сам не знал. Никаких программ и руководств... Никакой определенной идеи... мне было все равно. Направиться ли в одну сторону или в другую, на запад или восток, в глубину или в высоту... Лишь бы знать, знать, знать все. (Это слово все было моей погibelью). Уже тогда я был из числа тех, для кого немного, часть не существует. Все или ничего! И я всегда стремился ко всему, чтобы ни в чем не было недостатка, чтобы ничто не ускользнуло от меня, не осталось вне моей сферы. Полнота, цельность — больше желать нечего. За ними следуют конец, неподвижность, смерть.

Я хотел тогда узнать все, и, не зная, с чего начать, я, как бабочка, порхал по науке, пользуясь помощью учебников, словарей, энциклопедий. Энциклопедия была предметом моего самого высо-

кого устремления, моим самым высоким идеалом, — величайшей и совершеннейшей из книг. В ней, по крайней мере, если судить по внешности — было все. Каждое название, будь это человек, город, животное, растение, река или гора, в ней записано, занесено на свое место, объяснено и иллюстрировано.

На каждый вопрос энциклопедия давала ответ без всякого труда и промедления. Для моей риторической фантазии все другие книги были словно реки, вливающиеся в это беспредельное море, словно виноградная лоза, соком которой создаются огромные бочки вина, словно бесчисленное множество хлебных зерен, которые стоит смолотить и замесить, как получится хлеб, способный утолить всякий голод.

Предоставленный самому себе, обладая неуемным и капризным юношеским аппетитом, я искал, где мог, книги, которые могли бы просветить и насытить меня. Я рылся в больших библиотечных каталогах и потом наугад спрашивал странные, бесполезные, непонятные книги; жадно разыскивал учебники, в которых встречались ссылки на другие книги; с радостным нетерпением переписывал списки книг, помещенные на обложках, или названия книг, выставленных в витринах или упомянутых в журналах.

Всякое новое название книги было для меня более, чем откровением — настоящей победой; я составлял огромные коллекции их, списывал и переписывал их в особые длинненькие книжечки, пытаясь привести их в наилучший порядок. Если мне нравилось название какой-нибудь книги, я тотчас же брал эту книгу из библиотеки, выписывал из нее



другие, неизвестные мне названия и так далее, без конца. Но всей этой охоты и жатвы было для меня недостаточно. Часто случалось, что у меня являлось желание или необходимость узнать что-нибудь, и я совершенно не знал, куда сунуться. В подобных случаях мне приходила на помощь божественная энциклопедия; найдя то, что мне было нужно, я продолжал перелистывать магический томик, перечитывал отдельные случайные места, с возрастающим удовольствием находя все новые, дотоле неизвестные мне слова и понятия.

Как мистик, углубляющийся в единого бога, отрешающийся от всех жизненных мелочей, я нырял и терялся в море учености, и в момент, когда оно, казалось, окончательно утоляло мою жажду, оно придавало мне лишь новый жар.

И так долго я возился с энциклопедиями, что и мне пришла мысль составить энциклопедию. В пятнадцать лет, при том пытливом уме, какой был у меня, предприятие это кажется нетрудным. „Я хочу знать все,—думал я,—поэтому я должен все читать и все записывать для памяти. И если мне приходится так трудиться, лучше уж я буду работать не для одного себя. Собирая знания для других, я уясню себе и запомню все гораздо лучше“.

Но моя наивная самоуверенность создавала мне все новые затруднения. Я хотел, чтобы моя энциклопедия не походила на все другие. Просмотрев несколько энциклопедий и прочитав много книг, я убедился в том, что полной и совершенной энциклопедии не существовало. В одной я находил то, чего не доставало в другой, об одном предмете сообщалось слишком много, о другом слишком мало. Разыскивая мало употребительные названия

и более подробные сведения, я, к великой своей досаде и удивлению, часто находил все до единой энциклопедии немymi и невежественными.

Тогда я решил создать такую энциклопедию, которая бы не только содержала весь материал всех энциклопедий всех стран и народов, но и превзошла и превысила их все; в которой было бы собрано воедино то, что было разбросано и рассеяно во всех них, и еще более, чтоб это был не списанный и заимствованный из старых энциклопедий материал, а совсем новый труд, составленный на основании новых и специальных словарей, руководств и книг по всем наукам, по истории и литературе всех языков и народов.

Приняв решение, я не стал ждать сложа руки. Отныне жизнь моя получила направление; долгие часы, проводимые мною в библиотеке, имели для меня теперь более определенное и серьезное значение. С пламенным нетерпением я приступил к работе. С того дня—дело было летом, в июле, в каникулярное время—каждое слово, начинавшееся на а, привлекало меня, как образ друга. Все тяжеловесные энциклопедии, все многотомные словари, все старые, истрепанные алфавитные указатели и специальные лексиконы были извлечены из недр библиотечных полок для меня, а я списывал, переписывал, переводил, излагал все с большим и большим рвением. О, сколько мне пришлось возиться со всеми немецкими реченками, начинавшимися на А-а. Сколько заглавий книг мне пришлось выписать, чтобы дать точную историю династии голландских ученых из дома ван дер А-а! Как длинна и скучна была таблица латинских сокращений начинавшихся на А! Какую



нежность я питал к маленькому приморскому городу Абиле! Мне впервые пришлось познакомиться с юридическими книгами, чтобы с видом знатока иметь возможность говорить о конокрадстве <sup>1)</sup>. Я перечел „Ветхий завет“, чтобы познакомиться с сердобольной Абигаиль и пророком Аввакумом. У комментаторов Данте я выкопал сведения о жизни и деяниях Бокка дельи Абати, я познакомился со всеми видами ели <sup>2)</sup>; я усовершенствовался в истории Аббiateграссо и географии Абисинии.

Сначала я как попало переписывал заметки в тетрадки или на отдельные листки бумаги; потом я приводил все в порядок и переписывал на гладкую, аккуратно разлинованную бумагу. Днем в библиотеке скверный, небрежный, торопливый почерк, кляксы, сокращения, каракули. Вечером, при дрожащем свете свечи, самая красивая каллиграфия, на какую я был способен, английское рондо, черными и красными чернилами, а под левой рукой пропускная бумага... Как интересно было! Чтобы переписывать, сгорбившись, при тусклом освещении, свою энциклопедию, я готов был пожертвовать любой игрой, любым театром и даже, бьюсь об заклад, целыми зверинцами диких зверей, которые более всего привлекали меня на разных ярмарках.

И все же эта затея, столь возвеличившая меня, бедного, неизвестного ребенка, в моих собственных глазах и даже в глазах библиотекарей, глядевших на меня с состраданием, смешанным с насмешли-

вым уважением, наскучила мне или, правильной говоря, испугала меня тем совершенством, которого я хотел достигнуть. Два месяца я работал, утром и днем при раскаленном свете, лившем через окна, вечером при лампе в другой библиотеке или при свечке дома, и все же, сколько я ни писал, а дальше слов, начинающих на А-а, я так и не пошел. Длиннейшая статья о неистовом Ахилле надоела мне. Я коснулся вопроса о Гомере, ходил по краю классической филологии; греческие слова (которых я не понимал) посадили меня на мель, унизили меня. На помощь усталости пришел разум. Я уже понюхал тогда,—кто знает, в каких коварных книгах,—философии и начал кое-как логически рассуждать и мыслить, не так элементарно, как мне полагалось по возрасту. Я понял, что истинное знание не состояло и не могло состоять в алфавитном наборе сведений, натасканных откуда попало; в собрании списанных обрывков, расположенных механически, без искры жизни, души и мысли.

Я оставил энциклопедию, но, не желая впасть в специализацию, каждый раз, когда я собирался отдаться единственной привязанности, мой мозговой донжуанизм оттащивал меня в сторону. Мне нужны были беспредельность, грандиозность, цельность, полнота во времени и пространстве, шествие веков и томов.

Мне показалось, что для этой цели больше всего подходит история.

Замыслив ее в большом масштабе, в полном виде, как историю всего и всех, я причислил к ней все, кроме естественных наук, — которые я мог изучать отдельно. И уже, конечно, не коротенькая

<sup>1)</sup> По-итальянски начинается на а—abigeato.

<sup>2)</sup> По-итальянски—abete.



история какой-нибудь эпохи или народа, а всеобщая история всех рас и всех времен. Мечта моя делилась, таким образом, на две части, но и того, что оставалось, было достаточно, чтобы поставить в тупик пятнадцатилетнего или шестнадцатилетнего писателя.

И снова я принялся разыскивать, изучать, переписывать, компилировать.

Я был знаком со всеобщей историей Канту и восторгался ею; не раз выводила она меня из любых научных затруднений. Но я хотел написать гораздо более обширную, полную и точную историю. К тому же Канту был католик и реакционер. Я же хотел написать историю рационалистическую, революционную, ибо в то время я, как и отец мой, был атеистом и республиканцем.

У меня было еще средневековое представление об истории, как о зеркале всего происходящего, но более рассудочное, более духовное. Много, очень много, бесконечное число фактов, — но связанных общей жизнью, растущей, развивающейся жизнью, объединенных мыслью, поднимающейся от самой слепой жажды жизни к героической бесполезности мысли для мысли.

Для начала я запутался в чаще египетской хронологии и испек краткое изложение истории Египта до александрийцев. Хотел было уже перейти к китайцам, как вдруг мне пришлось в голову, что моя история была без начала. Чтобы написать действительно всеобщую историю, следует начать с сотворения мира, а не с первых писанных источников. То немногое, что я знал из астрономии и геологии, давало мне представление о чудесах древнего мира и постоянном формировании и раз-

ложении миров. Не мог же я, подобно Канту, принять на веру еврейские семь дней, божье — да будет и земной рай. Следовало изложить историю сотворения мира не по Моисею, а согласно науке. Наука же тогда для меня воплощалась в Камилле Фламарионе и Чарльзе Дарвине. Первый привел меня к Лапласу, второй к Лайелю. И вот я, в роли новоявленного астронома, геолога и антрополога, приступил к описанию прошлого земли, для современного пользования. По вечерам я вперял свои бедные и без того близорукие глаза в небесные высоты и старался разглядеть одну из тех туманных беловатых огромных прародительниц звезд и планет, о которых с помощью цифр и фигур рассказывали легенды современные космологии.

Переписав с некоторыми лирическими отступлениями пламенную эпопею солнечной системы и многострадальную историю земной коры, я подумал, что сделал еще не все. Я рассказал, как действительно был сотворен мир, но не то, что об этом думали люди, какие они создавали легенды о начале всего существующего.

А в моей истории должно было быть все. И от истории я перешел к космогонии. Эта историческая щепетильность (не только история фактов, но и история верований в фактах) оказала большое влияние на мои занятия.

Моя любознательность раздвоилась: с одной стороны, я зарылся в сравнительную литературу, с другой — в историю религий. Главным образом, в последнюю. Не было той теогонии, того космического мифа, которых я не откопал бы и не описал для пополнения начала своей истории.



Но ни одна история не привлекала моего внимания так, как еврейская. У нас в доме была черная библия, из тех, что английские протестанты тридцать лет назад продавали в Италии за пол лиры (и никто их не покупал). Я перечел по ней все Бытие. Но это еще не все. Я разыскал в библиотеке самые хваленые комментарии, самые ученые рассуждения о сотворении мира в семь дней, как католических, так и еретических конкордистов без разбора. Я читал и перечитывал остроумные памфлеты XVIII века и апологии, отшлифованные на современный лад для удовлетворения менее глупых семинаристов, французские статьи, ясные и шипучие, как шампанское, тяжелые философские компиляции немецких компиляторов, статьи в словарях, длинные и разнообразные глоссы разноязычных библий, не умея различить в них точные данные от софизмов, доказанное от гипотез. Я рылся и в зеленых книжках, найденных мной в корзине-библиотеке и мало-по-малу совсем утратил сознание первопричины всех этих розысков и потерялся в лабиринте, в волнах, в чаще библейских вопросов.

Так я сел на мель на попытке конкордации. У меня хватило терпения прочесть толстую книгу некоего Пианчани, потом колоссальный Экзамерон Стоппани и многие другие биологические и схоластические упражнения иезуитов дарвинианцев или почти дарвинианцев. Тут у меня явилась мысль: все известные комментарии библии написаны священниками, епископами, теологами, одним словом, верующими, — хотя бы это были лютеране, квакеры, вальдийцы или социниане. Но нет (то-есть, я думал, что нет) ни одного библейского комментария,

написанного рационалистом, позитивистом, беспристрастным свободомыслящим атеистом, который бы исследовал стих за стихом все книги ветхого и нового Завета и сделал очевидным для всех, без евфемизмов, все ошибки, противоречия, неправды, глупости, доказательства жестокостей, мошенничества и вздора, которыми полны страницы, якобы вдохновенные богом. Такой комментарий, думал я, нанесет вере гораздо больший урон, чем атеистические нападки и скучнейшие диспуты, — самое большее, на что способна современная антитеология.

— Такого комментария нет. Я его напишу!

Теперь уже трудные предприятия больше меня не пугали, а по сравнению с величайшей энциклопедией, это был ничтожный, маленький труд, который без особых усилий можно окончить в два года, думал я.

Я серьезно принялся за дело: взял еврейскую грамматику и через несколько дней умел уже писать большие, вычурные семитические буквы и способен был списывать стихи Пятикнижия с оригинала. Я собрал материал, казавшийся мне огромным, и каждое утро и вечер присоединял к нему новый; в один прекрасный день я решил, что достаточно. Я чувствовал себя пресыщенным всей этой путаной эрудицией, я чувствовал, что должен теперь же придать ей форму, иначе я все брошу — и навсегда.

Тогда я выписал первый стих Бытия (по еврейски) и приступил к изложению комментария. „В первый день бог сотворил небо и землю“. И тут же я наткнулся на большие затруднения. В стихе этом было два слова, вызывавших много споров между исследователями; христиане переводили их по



своему, согласно теологии, установленной собором и отцами церкви. Как сказано в тексте — бог или боги? Сотворил или образовал? Иначе говоря: первые иудеи были монотеисты или политеисты? Верили в сотворение мира из ничего или представляли себе бога скульптором-демиургом, который придал форму независимой от него и не созданной им материи? Проблемы огромные, как видите: исторические, лингвистические и вместе философские. Но я не испугался и продолжал писать.

Я писал, писал и все не мог выбраться из этих дебрей. Аргументы, апологии, возражения нагромождались одни на другие; цитаты на трех-четырех языках следовали за цитатами; философские и теологические клубки все более запутывались. Мои скудные познания в еврейском языке изменяли мне в этой ужасной путанице, и мне пришлось принять на веру чужие утверждения; при этом единственно достойными доверия были, по моему мнению, те, конечно, которые были на стороне разума и против священников.

Я склонился поэтому к тому мнению, что следовало перевести „боги образовали“, но затруднение заключалось в том, чтобы убедить и других в этом и убедить так, чтобы никто не мог возразить или усомниться в этом.

И я писал, писал, и писал, и все не мог выпутаться из этого злосчастного стиха, который на всю жизнь врезался мне в память. И чем больше я писал, тем сильнее спутывались все мои идеи, а полемические нападки, этимологические споры и диалектические выводы смешивались и сливались в какой-то дьявольской пляске эрудиции, ритм и мотив которой я сам уже не мог уловить.

Наконец, как и когда всевышнему было угодно, я преодолел все: получилось более двухсот густо исписанных страниц. Я приступил ко второму стиху: „Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною; и дух божий носился на поверхности воды“. Тут коварство лицемерных теологов было не столь велико, но затруднения от этого не уменьшились: следовало разъяснить значение мрака и бездны и отметить различие между понятием о духе божием и идеей бога (первый зародыш александрийской троицы), а упоминание о воде привело меня к Греции, к первым философским представлениям Греции: к Гезиоду с его теогонией и вселенной, выходящей из океана, к мудрому Фалесу Милетскому, полагавшему сущность всего во влаге. Я погрузился в эрудицию до ушей; я осмелился даже на греческие цитаты (и как же я волновался, когда одно за другим, неверной рукой выводил божественные письма Платона) и бродил в чаще толкований, глосс, комментариев и диссертаций, как Адам в зоологическом и ботаническом саду Эдема.

Неистово продолжая писать, я дошел до третьего стиха: „И сказал бог: да будет свет. И был свет“. Слова эти поразили даже ритора Лонгина, несмотря на то, что он был язычник; мне же, свежее испеченному ученику Бейля, Вольтера и автора *Veglie Filosofiche Semiserie*, они не внушили уважения. Скорее вызвали у меня насмешку. И как же издевался я над богом, создавшим свет раньше солнца!

До четвертого стиха я не дошел, — я устал, и мне надоело. Если для трех стихов понадобилось столько страниц, заметок, столько эрудиции, то



сколько их понадобится для всей библии, для добросовестного комментария многих тысяч стихов.

Лучше было вернуться к старой системе: излагать и выражать. Я составил план большого труда, направленного против веры; написал несколько обрывков его; помню, это было написано почти по-тоскиански, в насмешливом стиле и смахивало слегка на *Asino* Гвеваци, которого я с несказанным удовольствием прочел незадолго до того.

Но и этот рационалистический обзор не подвинулся вперед. Особенно помешали ему другие изыскания, предпринятые в то же самое время и ведшие свое начало так же, как и библейский комментарий, от той знаменитой первой главы всеобщей истории, которую я никогда не написал. От космогонии священных книг и народных легенд мне захотелось перейти к поэтическим формам, в которые она вылилась в цивилизованное время. И так как я ничего не делал вполнину, то перерыл с помощью словарей и руководств по истории все литературы мира, ища и собирая те поэмы, в которых шла речь о сотворении мира. Я нашел их большое количество. Прочел их, списал, задумал по обыкновению написать книгу и все прочее; попутно я влюбился в некоторых поэтов, прочел и другие их произведения, перешел к родственным им поэтам; так мне попало в руки большинство писателей разных литератур, и кончилось тем, что я стал маниаком восточных и западных литератур, как раньше был помешан на всеобщей истории и библейской критике. Написать историю всего мира, всех человеческих деяний было бы слишком трудно — я думал — особенно для такого

новичка, как я; но всеобщую историю литературы написать я смогу, и не такую, какие писались до сих пор: не по векам, не по нациям, а по содержанию.

Моей мечтой была сравнительная всемирная история литературы и не только библиографическая, но и расположенная по предметам содержания. И опять начались поиски тем, указателей и источников, опять пошли бесконечные заметки о легендах и поэтических мотивах, опять ящики переполнились карточками. Я очень ограничивал себя, но мое неперемное стремление к всемирному было в достаточной мере удовлетворено. Через несколько месяцев тяжелых и беспорядочных изысканий, я должен был убедиться в том, что и это было большим и трудным предприятием и что довести его до конца было дело нелегкое. Чтобы исполнить его как следует, мне пришлось бы выучиться бог знает скольким языкам и читать, не отрывая глаз от книг, в течение десятков лет. Такую историю, о какой мечтал я, нельзя было написать на основании одних названий. Следовало изучить все самое важное, страница за страницей, и перечитать все по многу раз, чтобы найти верные источники и установить параллели.

И снова я был вынужден отступить от задуманного (это была уже пятая или шестая неудача); тогда я решил ограничиться литературой близких мне стран, литературой романской. Но зато уж изучить ее досконально, имея в виду написать сравнительную историю романских литератур и заняться впоследствии их преподаванием. Так я сделался ожесточенным романистом. Я усердно принялся читать филологические журналы, разби-



ратся в рукописных источниках, слушать специальные курсы, рыться по целым дням в библиографии и в руководствах. Я довольно систематично изучил тогда начало французской и итальянской литератур, но больше всего меня привлекла наименее известная, наименее почитаемая из литератур: испанская. Еще раньше я с помощью купленной за три сольдо грамматики научился кастильскому наречию и перевел кое-какие сцены из „Чудного Чародея“ Кальдерона; теперь же я стал пользоваться книгами Амадор де-лос-Риос и Тикнора, разыскал первоначальные тексты от fuero Авилы до позднейших романсов, грезил по поводу *Mysterio de los Reyes Magos*, влюбился в поэму о Сиде, сделался специалистом по *Gonzalo de Berceo* и погрузился в остроумную софистику архипресвитера Ита. На этом я не остановился. Я просмотрел, частью даже прочел все огромные томы библиотеки Rivadeneyra, нашел каталанские, кастильские и португальские рукописи; изучил почти досконально староиспанский язык; задумал критический труд; не имея возможности добыть все источники, я переписал целые книги, и, в заключение — как всегда и вечно — новая неудача! Тогда я решил отказаться от мысли о сравнительной истории романских литератур и написать богатое данными, полнейшее руководство по истории испанской литературы.

И на этот раз первые главы были мною написаны. Я поднялся до иберийцев, до римлян, проследил историю готов, арабское нашествие, возникновение нового языка и дошел до первых писанных источников. Но в самом разгаре критики поэмы о Сиде работа остановилась. Ее сменили

другие идеи, другие занятия, требовавшие меньшей эрудиции. Испанская литература была моей последней авантюрой компилятора и ученого. Жалкая авантюра — последняя ступень падения, стремительности которого я тогда не сознавал.

От всего — к специальности: от всеобъемлющей учености — ко всеобщей истории, к критике религий; от нее — к сравнительной всеобщей литературе, к сравнительной романской литературе и, наконец, к одной литературе и даже к одному периоду этой литературы. Частичные неудачи, сокращения, ограничения привели меня, желавшего все объять, все знать, все преподавать другим, к жалким филологическим и библиографическим вариантам в уголке одной борозды, — а раньше в целом поле недостаточно было простора для моей жажды деятельности. Жизнь моя и после была такова — вечное стремление к всеобъемлющему, к вселенной и все с тем, чтобы упасть в ничто или за огородный забор; смена высоких стремлений и постоянных неудач. Эта краткая история моих юношеских попыток — один из возможных ключей к тайне моей жизни.

### ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА

Я родился с манией величия. Одно из первых моих воспоминаний относится к тому времени, когда мне было лет восемь, а может быть и меньше; я почти всегда проводил время один и часто читал школьную хрестоматию с грубыми иллюстрациями и фиолетовыми чернильными пятнами. Однажды я в ней нашел историю увенчания лаврами Петrarки



в Капитолии. Я читал и перечитывал ее без конца. „И я, и я...“ повторял я про себя, не зная даже хорошенько, почему именно был возложен венок на главу толстенького поэта. А круглое, плохо нарисованное лицо жалобного сочинителя сонетов — обрамленное колпачком, увенчанное венком из остроконечных листьев, напоминавших кусочки жареной печонки, — смотрело на меня из книжки и, казалось, улыбалось и подбадривало меня. „И я, и я...“

Я добился того, что отец свел меня на Виале де Колли. Там из низких кустов какой-то изгороди я вырвал несколько листьев иммортели. Я не вполне был уверен в том, что это и был знаменитый лавр, но это было несущественно. Вернувшись домой, я заперся в той комнатке в глубине дома, в которой находилась уже упомянутая лубковая библиотека. Там я сплел из иммортелей нечто в роде венка и надел его на голову; на плечи я накинул большую красную тряпку и стал прохаживаться вдоль стен, напевая жалобный, монотонный мотив — мне он казался возбуждающим героические чувства — и колотя в такт рукояткой от ножа по деревянному ящику. Я представлял себе, что это я торжественно направляюсь в Капитолий; производимый мною шум, очевидно, был необходимым аккомпаниментом, — может быть, это изображало рев рукоплещущей толпы. Так в одно серое зимнее утро произошло мое комическое обручение со славой.

Но настоящее первое обещание, которое я дал себе, имело место позже, когда мне было лет пятнадцать — шестнадцать. Было это в душное августовское утро, часа в четыре; печальный и, как всегда,

одиноким я гулял по одной из самых длинных и широких улиц родного города. В руках у меня была газета, купленная ценой кто знает какого унижения; утомленный, скучающий, в досаде на жару и людей, я шел, опустив голову. Был час, когда люди-отупевшие от послеобеденного сна, выходят на улицу в напрасной надежде на дуновение ветерка и вечернюю свежесть. Выходят няньки в разноцветных лентах с красными ребятами, хнычущими среди своих кружев; вспотевшие мужья об руку с женами; братья, ведущие за руку сестер; молодые люди по двое, по трое с белыми папиросами в зубах; девушки с платочками на голове, с веселыми, страстными глазами; старики в пальто с голубенькими зонтиками под мышкой; бедные солдатики, одетые в темное и не знающие, что делать со своими руками, затянутыми в белые нитяные перчатки. Толпа росла с каждой минутой, заполняла тротуары; люди переходили на мостовую, смеялись, раскланивались. Под большими шляпами с цветами сверкали во все стороны, как черные брильянты, глаза у женщин. И скрещивались каждую минуту в воздухе две соломенные шляпы, поддерживаемые двумя руками, поднятыми над этим праздничным стадом.

Мне было не по себе в этой толпе. Я был плохо одет; был некрасив; был бледен; у меня был строгий вид человека, недовольного жизнью; я чувствовал, что никто меня не любил и не мог любить. У случайно взглядывавших на меня прохожих появлялось на лице мимолетное выражение презрения; кое кто оборачивался, смотрел вслед тощему, одинокому юноше и смеялся. Особенно жестоки со мной были красивые девушки со смуглыми лицами



и белыми зубами, одетые в белое и красное: раскаты их смеха то и дело раздавались за моей спиной. Может быть, они и не надо мной смеялись, но в ту минуту я был уверен, что надо мной, и жестоко страдал. Я считал себя лишенным всего, что есть в жизни прекрасного: я одинок, я нелюбим, я беден. А все эти люди не думали обо мне и спокойно направлялись на прогулку, ничего не зная о горестях бедного, задумчивого юноши.

Тогда я вдруг возмутился. Я внезапно почувствовал, как кровь во мне забурлила и все мое существо взволновалось. „Нет, нет, нет! — кричало что-то внутри меня, — так не должно быть. И я человек, и я хочу быть великим и счастливым. Кто вы такие, глупые мужчины и хорошо одетые женщины, проходящие мимо меня с такой важностью? Вы еще увидите меня! Я хочу быть больше вас, больше всех, выше всех. Я мал, я беден и некрасив, но у меня есть душа, и душа эта будет так кричать, что все вы должны будете обернуться и прислушаться. Тогда я буду чем-то, а вы останетесь ничтожествами. Я буду делать, мыслить и творить, я сделаюсь самым великим из всех великих, вы же будете попрежнему есть, спать и гулять, как сегодня. А когда я буду проходить, все на меня будут смотреть, и у красивых женщин найдется взгляд и для меня, смеющиеся девушки будут искать моей близости и дрожа будут пожимать мне руки, а серьезные мужчины будут снимать шляпы, когда мимо буду идти я, я, самый великий, гений, герой“.

И думая так, я поднял голову; грудь у меня вздымалась, глаза глядели не со страхом, а с гневом и гордостью на бледные, смуглые или желтые

лица, мелькавшие мимо. Я был не тот; в тот миг я наверное казался красивее.

Так я дошел до большой площади, на которой стояла триумфальная арка. Четверка лошадей скакала по раскаленному закату небу. И я поклялся самому себе, что, прежде чем умру, я сделаюсь великим.

### БЕДНОСТЬ

Все время я был беден, прилично, но жестоко беден. (Я всегда ненавидел и теперь ненавижу тех, кто родился подле туго набитого кошелька, кто почти всегда имел возможность купить все, что пожелает). Я был мещански беден: не терпел ни холода, ни голода, но страдал от этого не меньше.

Меня мало трогало то, что мне приходилось носить поношенное, запачканное платье с отцовских плеч, с хорошо наложенными заплатами на штанах, сзади и внизу, и то, что на голове у меня была старая измятая шапка, а на ногах слишком тесные башмаки, не один раз бывшие в починке. Радостей жизни мне требовалось немного, и были они очень скромны. На одно солёдо вишен или винных ягод летом, на солёдо жареных каштанов или каштанной каши зимой — было для меня достаточно в области лакомств. В театр (скоморохов) и в кафе (мороженое) ходил я раз в год, может быть, два раза, если кто-нибудь меня приглашал. И одно воскресенье в году поесть за городом, всегда на том же месте. (Высохшая реченка без воды, камни, тростник, выжженные луга, жареная рыба).



И все же эта жалкая жизнь маленьких мещан тяготила меня только по недостатку денег, наличных, собственных денег, которые я сам мог бы тратить, как мне угодно.

Те, кто имел состоятельного папашу, снисходительную мамашу, во-время наполняемый кошелек и копилку у кровати, капризные мальчишки, расточающие столько серебряных лир на игрушки, картинки, сладости, фрукты и всякие гадости — не могут вообразить, сколько я выстрадал ребенком, потом мальчиком и юношей. (Первые десятилирные бумажки, мои деньги, я заработал, когда мне было уже девятнадцать с лишним лет).

А деньги нужны мне были больше, чем другим, и для других целей. Прежде всего мне нужны были книги (дома их было мало, в библиотеку я получил возможность ходить поздно), мне нужны были газеты (эти истребители часов уже тогда соблазняли меня), мне нужны были писчая бумага, перья, чернила. Жалкие, мелкие деньги, копейки. И даже их у меня не было. Отец ничего не мог давать мне и был прав. Он и так едва ухитрялся содержать всех нас. Время от времени он покупал книжку на лотке, но не более двух — трех в год. Позже он стал давать мне полторы лиры в месяц на дурные привычки, как принято говорить в мещанских семьях. Моими дурными привычками были белая и печатная бумага.

Как же мне было жить? Где мне было найти деньги, которые мне во что бы то ни было нужны были для удовлетворения моего духовного голода?

Я испробовал много средств, и первым была экономия. Мне ежедневно давали два сольдо на

завтрак. Я тратил только семь чентезимов. В неделе было пять школьных дней, итого три сольдо, иначе говоря — томик народной библиотеки или три тетрадки бумаги.

Следующим источником была мать. Она, как и следовало, была более жалостлива, чем отец. Она видела мои страдания и жалела меня. И у нее, бедняшкой, денег было немногим больше, чем у меня: только то, что отец ежедневно оставлял на домашние расходы. И все же, путем неопикуемой экономии и изворотливости, она умудрялась уделять мне два — три, иногда даже четыре сольдо в неделю, немедленно претворявшиеся в выпуски иллюстрированных книг, в бумагу клеточкой (самую вместительную) и в литературные газеты.

Далее следовало воровство, — признаюсь в этом без всякого стыда. В течение многих лет я осторожно, но непрерывно занимался мелкой домашней кражей. То мне удавалось рано утром, когда отец еще спал, утащить несколько сольдо из кармана жилета, висевшего на вешалке, то я утаивал сдачу с покупок, если только отец забывал о ней, то я слегка накидывал на расходы или говорил, что потерял на улице деньги, дававшие мне на покупки. Меня бранили, но зато сколько радости доставляли мне эти несколько утаенных сольдо! Я даже пытался заняться торговлей, но потерпел неудачу. Я откладывал оберточную бумагу с пакетов, а потом продавал ее, собирал персиковые косточки, покупал и перепродавал старые марки, — но выручка была незначительна и давалась с большим трудом. Однажды я даже учредил в школе маленькую сберегательную кассу. Учитель накрыл нас, меня наказали, и пришлось все вернуть.



И несмотря на сбережения, на материнскую жалость, на мошенничество и на торговлю, случалось иногда, что у меня не было ничего, ровно ничего, даже одного сольдо на покупку газеты. Бывали дни, когда я вырывал белые страницы из книг или листы из школьных тетрадей, чтобы было на чем писать; когда я наливал уксусу на пыльное донышко чернильницы, чтобы только было куда обмакнуть перо; когда я часами простаивал на углу или у витрины книжного магазина, чтобы украдкой прочесть верхние столбцы газет или страничку какой-нибудь книги.

Сколько я перестрадал в то время! Это были холодные, серые дни одиночества и безнадежной нищеты... Сколько отчаяния из-за промокавшей бумаги, из-за чернил, которые коварно расплывались, сливая слова и мысли; из-за притупившегося перышка, отказывавшегося писать, тогда как у меня их больше не было; из-за упорства книгопродавца, не желавшего уступить мне пол лиры на книгу, когда у меня не хватало денег.

Несмотря на все ухищрения, мольбы и обманы, я так и оставался бедняком, бедным, молчаливым мальчиком, которому никто не рад. Книгопродавцы обращали мало на меня внимания, когда я спрашивал цену книги, так как все они уже знали, что я мог располагать не лирами, а чентезимами, даже хозяева лотков не любили, чтобы я подолгу рассматривал и перелистывал у них книги, так как в большинстве случаев я ничего не покупал или же покупал дешевые бракованные книжонки или даже томики с недостающими страницами; газетчики бросали на меня свирепые взгляды, так как я старался читать у них газеты исподтишка.

Но я всегда с гордостью вспоминаю унижения того времени. Сколько раз я проходил мимо витрины, пожирая глазами давно желанную книгу и не смея осведомиться о ее цене! Сколько раз я ощупывал в кармане свои несколько сольдо и все пересчитывал их из боязни, что у меня их меньше, чем надо, или что я потерял их; с бледным лицом, робко и молчаливо входил я в лавку и, выждав, когда хозяин будет в лавке один, я проносил заветное имя и заглавие... Как меня тогда презирали книгопродавцы, хозяева лотков, товарищи, родные, все! Худой, молчаливый и плохо одетый мальчишка, с прищуренными близорукими глазами, с карманами, набитыми бумагами, с руками в чернилах, злыми, грустными складками около рта и прямой морщиной, начинавшей обрисовываться посреди лба.

И все же: чего мне было нужно? Разве я стремился хорошо одеваться, как примерные молодые люди, сорвавшиеся с добродетельных картинок? Наедаться мясом и сладостями до отвала, до рвоты? Или требовал я разве красивого дома, путешествий, ружей, деревянных лошадок или театра марионеток? Я был жалок и некрасив, — я это знаю и тогда знал, — но под некрасивой, жалкой внешностью скрывалась душа, жаждавшая знаний, стремившаяся познать истину и пропитаться ее светом, а под грязной, измятой шляпой и всклокоченной головой был мозг, желавший все познать, всюду проникнуть, все обдумать, был ум, уже тогда видевший то, чего другие не видели, и утолявший свой голод там, где другие находят одну лишь пустоту. Почему никто этого не понял и не дал мне того, на что я имел право?



Впрочем, я не жалею на бедность того времени и не стыжусь прошлых унижений. Более легкая жизнь сделала бы меня, может быть, менее стойким, менее страстным и, в сущности, более ничтожным.

Постоянная горечь человека, который ничего не имеет и не может иметь, держала меня вдали от людей и сжала мое духовное я в плющилые страдания, сделавшего меня чище, тоньше и достойнее.

### МОЯ ПРИРОДА

Помимо влияния книг и людей давно умерших, моя душа многим обязана горам и деревьям. Природа играла не меньшую роль в моем воспитании, чем библиотека. Но только природа определенного рода: все, что во мне есть от печали, поэзии, серого одиночества, все это мне дала природа Тосканы, природа окрестностей Флоренции.

Отец мой, человек малоразговорчивый, но одаренный превышающей его положение духовной пытливостью, водил меня с детства каждое воскресенье за город. Одни и ничего не говоря, мы уходили сейчас же после обеда. Отец знал пустынные, уединенные дорожки, по которым можно было медленно, медленно передвигаться целыми часами, не встречая ни одной живой души. Впрочем, не всегда: иногда нам попадались на дороге то священник, то крестьянин, то старушка. Они нам кланялись, и каждый продолжал идти своим путем.

Отец почти всегда был чем-то озабочен; я режеывал в себе свои скороспелые разочарования или наивные схемы, но это не мешало мне смотреть. Со стен, в которые была втиснута дорога, свешивались судорожно извивающиеся серые ветки олив и торчали крошечные, чахлые, жалкие, дикие розовые кусты с мокрыми, увядшими цветами, лепесток за лепестком облетающими вниз в водосточную канаву. На сколько миль тянутся эти заборы.

До сих пор вижу их перед собою: то низкие, как заборчики, стены, словно зовущие вас присесть; то влажные, пестрые от изумрудного мха и грибов, с темными блестящими пятнами бойниц; то высокие стены с большими, темными, густолиственными деревьями наверху, почти напоминающие висячие сады; то, у самых ворот города, заново оштукатуренные стены, с грубыми ручными украшениями, сделанными каменщиком. Местами попадаются решетки вилл — темные, запертые решетки, за которыми прыгает и яростно лает собака; широко распахнутые решетки с двумя как бы стоящими на страже кипарисами по сторонам и подымающейся вверх аллеей, окаймленной оградой из мирт и лавров. Местами стены прерывались, и их сменяла живая изгородь, высокая, поросшая терном, зимой белая от инея и снега, весной от цветов, черная к концу лета от ежевики. Еще дальше исчезали и стены и изгородь, и уединенная, вымощенная большими плитами дорога (как горные дорожки, ведущие к монастырям) шла вверх между кипарисов и елей — а внизу подо мной расстилались изборожденные долины, орошенные луга, туман, и иллюзия беспредельности.



Мне казалось, что я перерождаюсь, и только там, наверху, когда лицо обвеивал ветер, там, без шляпы, без определенных мыслей, я чувствовал, что живу, как мне бы хотелось. Когда мы снова опускались вниз, возвращаясь в город, печаль сжимала мне сердце, и колючие сумерки аккомпанировали моей тоске слабым звоном далеких колоколов, к которым я не прислушивался. Тогда, чтобы не отрываться от этого свежего, свободного мира, я уносил с собою какую-нибудь частицу его: блестящую, морщинистую маслину, найденную в листве; жолудь с шороховатой чашечкой; кусочек мрамора, расщепленный наподобие альпийской горной цепи; зеленую, твердую еловую шишку; кипарисовую ягоду; индийскую смокву; пучок еловых игл; дубовый орех... Мне нравилось все простое, грубое, что носит на себе отпечаток не искусственного, горного, что дает ощущение жесткости, одиночества, здоровой, естественной жизни без вмешательства садовника.

Я не рожден для роскошной южной тропической природы, не рожден для прекрасных благоухающих цветов, для жирных плодов, для солнца. Природа, которую я чувствую, моя природа, это тосканская природа, на лоне которой я научился дышать и мыслить; голая, бедная, серая, печальная, скрытая природа, без роскоши, без игры красок, без языческой пышности и благовоний, но такая родная, такая близкая для чувствительного сердца, для одинокой мысли. Природа немного монашеская, францисканская, немного суровая, темная, где под покровом травы чувствуется каменный остов, а высокие, пустынные, темные горы внезапно, как угроза, вырастают над мирными плодородными до-

линами. Сентиментальная природа моего детства; возбуждающая и нравственная природа моей юности, тосканская скудная, сухая природа, с крепким темным камнем, с честными деревенскими цветами, с решительными кипарисами, с лишенными кокетства дубом и терном, насколько ты казалась мне прекраснее знаменитой южной природы, с ее пальмами, апельсинами, кактусовыми плодами, белой пылью и яростным летним солнцем! Мы ходили за город во всякое время года, но в моих воспоминаниях почему-то остались только зима, осень или дождливая весна: облачное, серое, туманное небо, резкий ветер или холодное, муемое спокойствие земли, в глубине которой идет тяжелая работа. Я никогда не вспоминаю солнца, не помню жары; а если и вижу, то водянистое солнышко, мелькающее среди бегущих облаков и еще более затемняющее землю каждым своим появлением. Вижу природу как бы под северным небом, в пустынном благоговении кончающегося года, когда с засохшего života жизни падают последние забытые, увядшие ветки.

Особенно хорошо помню короткие ветреные январские и февральские дни, когда мы быстро шли по твердой обледенелой дороге, хрустевшей под ногами, среди голых, отбрасывающих эхо стен, под белой бахромой высоких облаков. Я возвращался домой с горевшими от ходьбы ногами и пылавшим лицом, дрожащий от возбуждения и, как после победы, полный сил. И мой нищенский темный дом, моя холодная неопрятная комнатка с медной лампой, в которой тускло горело масло, придававшее всему какой-то мертвящий отсвет,



казались мне возвращением к бедности, к рабству, к смерти. Тогда я брал книгу и читал при тусклом свете своей траурной лампадки; все мое тело остывало, ноги замерзали, тоска еще усиливалась, и я бросался на постель, чтобы во сне схоронить невыраженные желания и непонятные грезы о жизни, совсем не похожей на эту — и на всякую другую.

---

## APASSIONATO

Я навеки покинул жизнь равнин.

Ибсен



### ОТКРЫТИЕ ЗЛА

От дикого, преждевременно созерцательного детства, от унижительного одиночества, вызванного робостью, бедностью, несходством с людьми, от частых неудач слишком честолюбивого энциклопедизма, от элегического лиризма, порожденного серыми дорогами, меж стен, почерневших под пепельными небесами, от неясных стремлений к героической, полной достоинства и поэзии жизни, вечно неудачных, утонувших в проклятой обыденности ограниченного, провинциального, жалкого, мертвящего существования, я пришел к отчаянному, замкнутому со всех сторон, как крепость без окон, пессимизму. Едва только кончилась юность и ум достиг совершеннолетия, как он предъявил к жизни свои вопросы и не получил ответа. Теоретика придала форму меланхолии. К бесконечной физической печали праздничных зимних полудней присоединилось размышление о хороших и дурных сторонах существования, и на каждую надежду дух отвечал нет; он говорил „нет“ — на каждую обманчивую мечту, на каждое ложное наслаждение и как южный ветер задувает догорающие огоньки



неудавшейся иллюминации, так дух мой гасил во мне последние остатки самообольщения.

За томлением бессонных ночей, когда является желание без всяких причин пожалеть самого себя—и так горько, как никогда никого не жалел,—последовали размышления о природе страдания, о мимолетности радости, о равновесии земного счастья, за патетическими сонетами о смерти и осени последовала твердая решимость разумно и публично протестовать против животного принятия жизни.

В этом возрасте я задал себе вечный и бесполезный вопрос, облеченный в форму, в какую облакали его все утомленные жизнью во все времена: стоит ли жизнь того, чтобы жить?

Что мог я ответить? Жизнь мне мало обещала и ничего не давала. Мне нечего было ждать: ни богатства, ни ученой славы (с самого начала я по необходимости пошел по кратчайшему и посредственному школьному пути), ни женской любви (я робок и некрасив), ни необъятности познания (мне больно было вспомнить обо всех моих неудачных попытках). Мало кто заботился обо мне, никто не любил меня, кроме отца и матери, слишком далеких от этой души, ими порожденной и даже им казавшейся такой чужой и далекой.

Мне оставалась только мысль: мне всегда нравилось обобщать, завязывать отношения между отдаленными фактами, разгадывать законы, строить и разрушать теории. Вдохновленный незадолго перед тем прочитанной и плохо понятой Scienza Nuova, я вбил себе в голову построить философию истории литературы и вообразил, что нашел законы круговорота явлений в искусстве, причины величия и упадка в литературе. Тэн уже тогда

просветил мой ум и возбудил во мне зависть своей легкостью построения ясных, систематических и симметрических схем, едва окрашенных горстью фактов; демон теории уже тогда овладел ребенком—поэтому и подсказывал мне формулы, сентенции и хорошо выведенные заключения.

Вооруженная таким образом мысль накинута на жалкую жизнь без карнавалов и без масок и быстро проникла в ее пустоту и скрытые страдания. И это все? Каждое желание встречает отказ, каждое стремление—опровержение, каждое усилие—пощечину, а вся жажда счастья, охватывающая нас в шестнадцать, восемнадцать лет—надежду на ничто. Ничто, замаскированное на сотни манер. Вера, слава, искусство, действие, рай, победа: маски, надетые на пустоту, глазные впадины без глаз, рты без языка, поцелуй без ответа.

Чтобы жизнь была сколько-нибудь сносна, нужно жить интенсивно. Время от времени ее заполняет чувствительность, и жизнь меняется, как текучая вода, и как поток, могущий казаться вечным и ровным, несет нас за собой. Но если анализировать жизнь, если обнажить ее мыслью, разумом, логикой, философией, тогда обнаружится бездонная пустота, ничто откровенно покажет свое ничтожество, и отчаяние проникнет в душу.

Так произошло со мной, и я быстро со всем пылом жизни, еще только идущей к зениту, укрепился в отрицании жизни. Моим ответом—единственно возможным тогда—на коварную несправедливость судьбы и холодную молчаливую враждебность людей было убеждение в тщетности всего, во врожденной подлости и совершенном, не-исправимом несчастье человеческого рода.



Но хотя я и думал, что мой пессимизм весьма радикален, он все же не был последователен, не дошел до своего логического конца. Вначале это был пессимизм сентиментальный, поэтико-литературный, живший во мне. Неистовый энциклопедист и прорастающий лирик разделило между собою поле действия. И открытие того, что человеческая жизнь несчастлива, толкнуло меня на новые компиляции. Я перечел все излияния поэтов, драматические выкрики, выпады ораторов, предостережения проповедников, афоризмы философов и полуфилософов в которых, скрыто или откровенно, доказывались или оплакивались бесполезность жизни, победа зла над добром, печаль прерванных мечтаний, разрушенных иллюзий, невозвратимого прошлого, давящее отчаяние, подрезающее душу, когда со всех сторон обойдена жизнь — маленький, едва освещенный остров бесконечной пучины ничтожества. Я собрал воедино траурную смесь страдания, выраженного словами, в которой стихи, парадоксы, жалобы и сожаления людей, далеких друг от друга по пространству, во времени, по духу, случайно столкнулись, как тоскливый хор человеческого недовольства.

Я сделал это не только для литературных целей: я был искренен. То, что я в других находил те же страдания, те же проклятия, придавало мне духу. Мне казалось, что я уже больше не одинок, что я обрел братьев, товарищей, рожденных для меня, мертвых утешителей. Мне казалось, что я не могу ошибаться в своем отрицании жизни и что это не только трусливый протест мальчика, истощенного бессилием и беспорядочным фантазерством.

Но я не только собирал изречения: я задумал сам написать книгу, настоящую книгу о жизни; книгу, которая бы раз навсегда внушила каждому человеку к себе самому и к жизни то неуважение, которого они заслуживают. В то время я впервые наткнулся на великого философа; я стал почитать, читать, обдумывать Шопенгауэра — отдельными отрывками, кусочками, с перерывами, но все же настолько, чтобы почувствовать, что дешевая наука книжечек по геологии и эволюции еще не все, чего может достигнуть сознательный ум. И я попытался начертать историю пессимизма и целыми днями стал читать историю философии, в которой мое внимание привлекли и другие идеи, помимо идей отрицания и страдания.

Я перестал быть только начитанным: во мне рос и окреп теоретик. Выработывание моей системы пессимизма, основанной на том законе, что самые желанные цели необходимо являются самыми недостижимыми, сопровождалось почти новыми для меня интеллектуальными радостями. Я не преминул, конечно, дойти до крайности, до логического конца. Мне не нравилось в Шопенгауэре его отвращение к самоубийству. Я уже подготовил, для последней части большого труда, стоическое предложение всеобщего самоубийства. Не для того, чтобы наделать шуму: я просто не видел иного исхода. Не индивидуальное самоубийство, — оно смешно и бесполезно, — а массовое, сознательное и предпринятое со всеобщего согласия самоубийство, после которого осиротевшая, пустынная земля бесполезно продолжала бы вертеться в небесах. Я воображал, что могу основать общество, которое разрастется и охватит все, по мере того,



как распространится моя неопровержимая книга. Когда эта лига отчаянных охватит все человечество, будет назначен великий день—конец. Я подумал и о способах и решил, что предпочтительнее всего яд.

Глупости, мальчишество. И все же мысль о том, что я буду апостолом этого заключительного момента всей жизни, была для меня в течение некоторого времени единственным, что еще удерживало меня в жизни. Я решил жить только в глупой надежде заставить всех людей умереть вместе со мной.

#### ДРУГИЕ

Но я больше не был одинок. К концу юности я вышел из того грустного детского одиночества, что спасло мою душу от преждевременного оподления под влиянием товарищей. Но и у меня было сердце. Я чувствовал, что имею что сказать, и мне хотелось говорить, изливаться. До тех пор я отдавал всю сжатую во мне и переполнявшую меня любовь себе самому. Я проливал слезы о своих несчастиях, о своей бесцельной, безысходной жизни. Я призывал к себе смерть в плохих патетических итальянских и французских стихах; и я оплакивал эту свою близкую, темную смерть. По ночам я плакал, думая о своей жалкой судьбе человека, для которого закрыты все пути и все источники радости, а днем мои усталые глаза и всегда черное платье являли собою нечто в роде преждевременного траура по мне самому.

Я нуждался в привязанности. Я хотел чувствовать руку в своей руке, хотел, чтоб меня выслу-

шали и сам хотел слушать; хотел иметь кого-нибудь, кому я мог бы, в незабываемом восторге первой дружбы, излить по секрету те чувства, желания и мысли, которых не открывают отцам и матерям. Мне нужен был кто-нибудь, равный мне, для совместной работы; кто-нибудь выше меня, чтобы учить меня, руководить мною; кто-нибудь ниже меня, кому я мог бы помогать, кого я мог бы учить и направлять.

Я впивался в лица и в сердца и большую частью встречал только сожаление, презрение или—еще хуже!—легкие, отвратительные, приятельские отношения плохо воспитанных юношей, которые хватают вас под руку, чтобы поболтать с вами о казино и о велосипедах. Школьных товарищей, я, откровенно говоря, и знать не хотел. Что за народ! Расчетливые филистимляне в коротких штанах; посиневшие от напряжения тупицы и она-нисты; сорванцы, негодяи! А противный, лицемерный, примерный „первый ученик“! Нет, нет! Мне нужны были любящие сердца, а главное—открытые и деятельные мозги. Люди подобные мне; из тех, кто мало выделяется в школе, но кто читает, мыслит, думает, кто имеет особые интересы, страшные фантазии. Одного только я нашел в школе, но это был не ученик, а учитель. Учитель по необходимости, поэт по натуре. Молодой и великодушный, он сумел угадать в моих словах и взглядах душу, для всех оставшуюся немой. Его появление в моей жизни было подобно первой звезде после долгих вечерних сумерек. Он поощрял мои поэтические порывы, он сумел оценить мои беспорядочные литературные исследования и, несмотря на то, что был выше меня, обращался



со мной, как с равным. Он первый увидел в путаном мальчике человека.

Но как ни была сердечна его отеческая дружба, мне было ее недостаточно. Я стремился к молодежи, к людям молодым, как я, и так усердно искал их, что через несколько лет уже был членом групп и кружков, казавшихся мне, по крайней мере вначале, интеллектуальным раем.

Я начал с того, что сошелся с двумя студентами старше и образованнее меня (они знали латынь и греческий), с которыми учредил нечто в роде литературного общества, под названием троица. Мы по всем правилам составили устав и назначили должности: каждый из нас занимал в обществе какое-нибудь место.

Наш закон предписывал, чтобы каждый по очереди составлял нечто в роде доклада, который должен был читаться и обсуждаться остальными двумя; под страхом позора они должны были оппонировать третьему. Когда пришла моя очередь, я набросал больше ста страниц в записной книжке и яростно и придирчиво разнес „Обрученные“ Манцони. Эту книгу я ненавидел еще с тех пор, когда мне пришлось в школе, в течение целого года, заниматься логическим и грамматическим разбором мещанских горестей Ренцо Трамальино и Лючии Монделло. Эта бесчувственная крестьянка; этот трусливый, подлый поп; этот монах, всегда имевший в запасе под рясой проповедь или благословение; этот безымянный, сначала строящий из себя громовержца, потом дающий себя унижить хитрому святоше и растрогать лицемерной плебейке, — надоели мне и раздражали меня. Я не видел и не чувствовал того чистого,

великого искусства, которым дышали многие страницы этой слишком знаменитой книги; а дух милосердия и христианства, которым они проникнуты, а рабское смирение перед волей господина бога, а примерное наказание грешников и посредственное торжество кротких и несчастных горячо возмущали во мне мой сатанинский кардуччианский дух.

Я прочел свою отповедь за городом, под прекрасным, животворящим февральским небом, и она произвела на моих двух товарищей, сделавшихся впоследствии примерными и почтенными чиновниками, отвратительное впечатление. Как? Самый младший, самый молодой из троицы позволяет себе смеяться, надругиваться, издеваться над одним из величайших произведений итальянского гения? Смелость, отвага, отсутствие предрассудков — все это великолепно, но не до такой же степени! Дискуссия была более резкой и ожесточенной, чем обыкновенно. Я часто встречался потом со своими двумя критиками и разговаривал с ними, но о троице больше не было речи, ни тогда, ни позже.

К счастью, я вскоре после этого встретил человека, — он был значительно старше меня и был полной противоположностью тем двум; поэт (он писал стихотворения в стихах и прозе), музыкант (он играл на флейте), сердечный, восторженный и экстравагантный, как мне хотелось. Он знал и любил писателей, дорогих моему сердцу (По, Уот Уитмэна); он познакомил меня с Бодлером и дал мне читать чудесные и новые для меня книги: Флобера, Достоевского, Анатоля Франса...

Его жизнь раздваивалась: днем приказчик или администратор, вечером и ночью пылкий, разнуз-



данный мечтатель. Он очень много писал, и ему удалось даже кое что напечатать в газетах. Он познакомил меня со своими друзьями, также посвятившими или мечтавшими посвятить себя искусству; это были: нежнейший поэт, изобилующий образами, томный от всех своих меланхолий, одновременно поклонник Гейне и д'Аннунцио, яростный читатель всех литератур и в сущности незаурядный писатель. Он был длинный, как стебель лилии; бледный, как мистически настроенный послушник; хрупкий и целомудренный, как девственница; но у него была чахотка, и он скоро умер.

Одновременно с ним я познакомился с таинственным и мрачным художником, страстно влюбленным в Беклина; с полусумасшедшим скрипачом, неистовым импровизатором (на пианино) победных маршей; с начинающим композитором, вечно искавшим либретто, уроков пения и чужих жен.

Эти люди, как я убедился позже, не могли дать мне многого, и от них нечего было ждать великих произведений. Но после книжного льда это было первое мое соприкосновение с горячим, живым миром искусства. В этом факсимиле богемы маленького города были представлены все роды умственной деятельности. Я видел в них уже не окаменевшие образы знаменитых и похороненных мертвецов, а живых людей, чего-то желавших, что-то творивших и могущих в один прекрасный день добиться славы.

Из этой неизвестной, тревожной, опьяненной мечтаниями и раздираемой сомнениями молодежи выйдут будущие гении, завоеватели вечности, счастливые творцы новых форм красоты. И я

хотел быть одним из них, чувствовать себя товарищем, собратом по этим подпольным поискам счастья и красоты.

Мы собирались во все праздничные дни в доме самого старшего из нас; пили кофе; курили (первые папиросы!); с восторженной искренностью говорили о новых книгах, о ново-открытом писателе, о последних статьях; мы спорили, ссорились, кричали. Иногда поэты, прерываемые восторженными возгласами, читали стихи, написанные за неделю; один играл на флейте монотонно нежную пастораль; другой играл Баха или что-нибудь своего сочинения.

Во всех нас была сильна надежда на то, что нас ожидает величие и слава. Каждый из нас восхищался всеми другими, и все другие восхищались им. Не было ни соперничества, ни зависти. Мы сознательно обманывали себя и грезили. Одной из излюбленных наших фраз было, что „надо пить большими глотками кубок химер“. Но что такое, в сущности, и в чем состоит знаменитая химера, которую мы так неумеренно превозносили по воскресеньям, я так никогда и не узнал.

Было и у меня свое место среди пяти членов этого кружка. Я представлял в нем эрудицию, критику, философию. Ко мне обращались за справками по истории, по библиографии, по модным теориям. Я пользовался у них репутацией чрезвычайно ученого и чувствовал, что только отчасти и только по сравнению с невежеством остальных заслуживаю эту репутацию. Но благодаря ей, а также благодаря своей молчаливости, я пользовался большим авторитетом и уважением, чем следовало. Испуганный этим слишком большим ува-



жением ко мне, я не читал им ничего из того, что как-раз тогда с большим волнением писал о самых запутанных проблемах жизни и смерти.

Как хорошо я ни чувствовал себя в этой периодической поэтической суматохе, я все же понимал, что этого недостаточно, что ум мой, дошедший до отвлеченных понятий и построений, ищет чего-то большего.

Я наслаждался жаром легкого, немного вульгарного энтузиазма; поэзия расширяла и утончала мою чувствительность; впервые вкушенная мною музыка аккомпанировала торжественным ритмом моим фантазерским скачкам.

Но ни в ком из моих новых друзей я не чувствовал страсти к обнаженной мысли, привычки и любви к логическому фехтованию. И через год, другой, я изменил им: мало-по-малу я совсем покинул их для новых друзей, для других умственных оргий.

Их было трое, новых. Студент-медик, красивый блондин, предпочитавший Шелли и Мюссе трактатам по психиатрии, а музей Уффици—анатомическому театру. Почти окончивший филолог, маленький и разговорчивый; он вечно рылся в библиотеках, тайком писал стихи; несколько хвастун и болтун, он все же был милый парень. И, наконец, самый младший из всех, беспорядочный во всем мальчишка, нигде не учившийся, ничего не изучавший, заклятый враг всякой науки, изве-рившийся в себе и в то же время преисполненный гордости циник и меланхолик. Я тотчас же почувствовал в нем больше души, чем в других двух, и с ним особенно сошелся в первое время. В тот же день, как мы познакомились, мы поссо-

рились, но потом он стал моим союзником против остальных двух, представлявших в ежедневных наших спорах поэзию, литературу, эстетизм, снобизм,—одним словом, тот д'аннунциевский стиль, который в то время начал преждевременно разлагать итальянскую молодежь. Мы же оба стояли за факты, за точные знания, за идеи, за простые симметрические теории, за строгую философию.

В течение многих месяцев нам удавалось собираться и спорить без излишней горечи. Некоторые общие симпатии, в особенности некоторые общие всем нам яркие антипатии—объединяли нас. Но в конце концов мы перешли на колкости и шпильки; ирония скоро привела нас к сарказму, к нападкам. Общество наше окончило свое существование таинственно: в воздухе носились таинственные подозрения. Наконец, мы решили расколоться навеки: двое по одну сторону, двое по другую. До сих пор помню место и время, когда мы решили и в нескольких словах произвели невозвратный разрыв. Мы разошлись не простившись, не пожав друг другу руки. И с приближением вечера я остался с одним другом, с единственным другом моей жизни, с другом, который был весь мой.

## ОН

Дорогой Джулиано! Двенадцать лет прошло с той душной дождливой осени, когда наши растерянные души встретились и обрели друг друга. Мы можем уже спокойно говорить о тех временах, словно речь идет не о нас, словно мы носим уже



не те имена и фамилии, словно не мы имеем столько общих воспоминаний. Но мы уже не те. Я уже не я, и ты больше не ты. В известный момент наши дороги разошлись. Ты теперь серьезный, уважаемый, деятельный человек; у тебя есть поклонники, последователи, может быть, ученики. Ты провел свои кампании; ты можешь показать свои раны; ты сумел из ничего создать нечто устойчивое, плодотворное; бурные переживания твоей сложной души ты скрыл под передником чернорабочего и очками конторщика.

Я же остался почти тем же капризным бродягой без руля, что и в те времена; нет такой точки, которая могла бы служить мне опорой; нет такого угла в мире, про который я мог бы сказать, окружив его стеной: он мой. Но и я изменился — и не мало.

Итак, мы можем говорить об этих годах с весьма правдоподобным спокойствием, как если бы это относилось к истории других людей. Но не говорить о них совсем я не могу; наша дружба, не в пример другим, не была ни легкомысленна, ни мимолетна, ни сентиментальна. Ты должен признать, что она не похожа была на другие.

Не знаю, сознавал ли ты по-настоящему, во всей полноте, каким прекрасным и серьезным временем было наше с тобой длительное братство. Я представить себе не могу мою жизнь той поры, чтобы не вспомнить твою фигуру деятельного, всегда возбужденного якобинца. Я вижу нас с тобой в борьбе то с зимними ветрами, то с летней пылью; я стою, облокотившись на перила набережной, и созерцаю тщетное упорство запруды; я растянулся на траве, на вершине Муджелло;

нагнулся над лотком с подержанными книгами; молча сижу за уже убраным столом в загородном трактире... Какие бы усилия я ни делал, я не могу себе представить себя одного. День за днем я вспоминаю нашу общую жизнь и ничего помимо нее.

Помнишь ли ты свою первую квартиру, на той чистенькой и уединенной улице, тесно заставленной домами и садами, где под вечер не увидишь никого, кроме любовных парочек и дворников? Это был большой желтоватый дом, и хотя ему не было и пятидесяти лет, от него веяло чем-то старым и грустным. Помнишь большую, темную комнату, полную книг?.. Склад всех итальянских и французских прелестей... обетованная земля моей неистощимой любознательности истого невежды. Помнишь длинные разговоры у камина при теплом поблескивании сухих дров, в час, когда быстро надвигался вечер и колокола перезванивали, не переставая, траур по ком-то давно забытому? А жалкий садик, вырытый среди сырых стен и постоянно закрытых окон, где мы впервые взволнованно говорили о Штирнере и божественной свободе личности? Или еще—как мы взбирались на холмы любоваться закатом и глядели на город, лениво растянувшийся на берегах медленно текущей реки, и спрашивали: будешь ли ты нашим?

Иногда в поисках уединения, ветра, суровости мы уходили дальше в горы,—дорога никогда не казалась нам чересчур длинной. Быстрым шагом нетерпеливых ходоков шли мы вперед, услаждая свой путь, вместо песни, мыслями и парадоксами. Подъемы в гору возбуждали нас, как предстоящая победа; спуск приижал нас, лишал нас разговор-



чивости. Мы удирали подальше от городских стен, от проволочных сетей, от полей, разграфленных прямыми линиями, как школьная тетрадка. Мы стремились ввысь, на свободу; нам нравились дороги без заборов, узкие тропинки, голые кустарники, каменистые под'емы, ведущие к необитаемым домам. А добравшись до вершины, к стенам маленького закрытого монастыря или к грудам камней разрушенных старых замков, мы затягивали в морозной февральской тишине марсельезу, перед картиной неутешных, пустынных долин далеких гор, с черными обнаженными склонами вдоль реки и белыми от света и снега вершинами на фоне растрепанных облаков; и грудь наша расширялась от частого дыхания и сердцебиения. Как далеки мы были от тесного, шумного города и от всех святых законов ежедневного унижения! Нам казалось, что мы одни в мире, что мы хозяева мира, единственные благородные и достойные люди в мире. Дул ветер, с увядших листьев капали на нас брызги дождя; по огромному бесцветному небу ползли окоченелые белые облака; стонали деревья, немилосердно сотрясаемые порывами северного ветра; а выжженная трава, побелевшая от инея, терпеливо дожидалась весны и душистой тайны фиалки.

Дорогой Джулиано! Мы с тобой уже больше не мальчики; мы мужчины. У нас жены, дети, много всяких обязанностей, и, в известном смысле, на нас лежит нравственное попечение о них. И все же, думаю я, если хоть что-нибудь менее фальшивое да вышло из наших душ, если что-нибудь от нас останется после смерти в душах других людей, то мы этим были и будем обязаны нашим

холодным зимним праздникам, нашему бегству вдвоем к земле бесплодной, к чистым высотам.

Вспомни наши вечера, когда я приходил к тебе, уже на другую квартиру, где ты один сидел и писал в ожидании меня. Перед твоими окнами рос кипарис, а подле него шел под'ем в гору. Мы любили этот кипарис, немного растрепанный и пыльный, но весь черный и такой уединенный на своем посту в старом саду. Мы часто подолгу глядели на этот под'ем. Наша жизнь была и должна была быть под'емом вверх. Мы грезили наши грезы там вверху, вдыхая душистый запах дрока, с ногами в прелой траве. Все наши проекты о книгах, наши программы газет были задуманы и развиты там наверху, на высоте свыше ста метров над уровнем моря и над людьми. И что бы я ни думал, что бы я ни предполагал, ты всегда имел место в моих планах; а в том, что предлагал ты, всегда имел место я, и мир был аккуратно разделен так: по одну сторону мы с тобой, по другую — все остальное.

Наверху, там, где кончается улица св. Леонардо, стояли два высоких, величественных кипариса, почти одинакового роста. Они срослись, и вокруг них не было никаких других деревьев. И мы, как-то решили, что эти два кипариса — мы с тобой: как они сплелись корнями под землей и ветвями в небесах, так и мы хотели соединиться в нашем настоящем и будущем. Мы также решили, что участь этих кипарисов будет нашей участью и что если один из них будет срублен или разбит молнией, то то же случится и с кем-нибудь из нас. Помнишь? Но оба кипариса все там же, их не сразила буря, не срубил топор, и по вечерам там



все еще чирикают о любви воробьи. И мы с тобой также еще существуем, и мы с тобой все еще живы и близки друг другу, но безумные, гордые мечты не проносятся больше у нас в мозгу, и, когда я прохожу мимо двух черных братьев, я опускаю голову, и — не знаю почему — у меня больно сжимается сердце.

Чувствуешь ты, каким прекрасным, каким торжественным временем была наша тогдашняя дружба? Не знаю, так ли я жив в твоей памяти, как ты в моей. Не знаю, до какой степени ты сознаешь, что лучшее в нашей жизни началось именно тогда, а не раньше, что именно тогда наша душа навсегда выработала свои линии и отмерила длину своих крыльев.

Мы близки и далеки, друг мой, и я ничего не знаю о тебе, а ты ничего обо мне.

Но когда я представляю себе тебя сидящим перед огромными испачканными библиотечными стойками, утром или после обеда, в часы страстной работы, согнувшимся над открытой книгой и над приготовленной бумагой, когда вспоминаю твой голос, спрашивающий меня о чем-нибудь или отвечающий на мой вопрос в то время, как углом глаза мы осматривались кругом из боязни, чтобы строгий человек, расхаживающий взад и вперед по библиотеке не поймал нас на незаконной болтовне, тогда мне становится ясно, и ты вновь становишься мой, весь мой, как в те далекие дни нашего нетерпеливого бодрствования.

Или когда, поздно вечером, мы шли в кафе и забирались за самый последний столик, в самый далекий уголок огромного железно-стеклянного шатра большой пивной. Помнишь, как мы молча,

с замкнутым, презрительным видом пробирались в наших черных плащах мимо столиков мещанских семейств, мимо одиноких филистеров, издыхавших от тоски над своими пустыми стаканами, под громкий смех эlegantных молодых людей, вульгарных, как лакеи? С каким чувством удовлетворения мы забирались в самую глубь комнаты пить горячий плохой кофе, подводить итоги победам, одержанным за день, обсуждать прошлое и будущее, тупоумное лицо соседа, судьбы человечества, земные язвы и небесные надежды! Сколько мы там низложили книг, сколько открыли новых идей, сколько низвергли авторитетов, сколько разрушили систем, для скольких произведений составили мы там оглавления и предисловия, сколько пустили в ход парадоксов, у скольких стрел спилили острия! Что по сравнению со всем этим абсент или шампанское! Это было, как и подобает божественной юности, опьянение без вина, оргия без женщин, бал без музыки и танцев. Это было торжествующее ежедневное открытие нашего „я“, самого интимного, самого настоящего нашего „я“, постоянная переработка нашего ума лириков мысли и исследователей глубины.

Мы вместе открыли себя и вместе же сткрыли мысль. Я разъяснил тебе твою душу, а ты мне мою. Вместе мы во все верили и все отрицали, вместе строили и разрушали. Вместе, взявшись за руки, мы искали правду, поглощали книги, вместе изучали и низвергали самые неоспоримые авторитеты. В одну и ту же минуту мы освободились от веры отцов, от идолов нашего племени, от трусливых. Мы спали в одной постели, ели за одним столом и отмечали в одних и тех же



книгах одни и те же страницы. И все же в дружбе нашей не было ничего мягкого, женственного, патетического и—скажем прямо—сердечного. Это была дружба двух ищущих умов, а не соответствие любовных чувств двух верящих друг в друга сердец.

Мы не обменялись ни единым поцелуем, не проливали вместе слез, ни разу ни один из нас не поверил другому заветных тайн своего сердца. Когда ты полюбил, я узнал об этом от других, а о свадьбе твоей я узнал из „Corriere della sera“. Не даром мы так усердно читали „Le Rouge et le Noir“ и „La Mort du loup“.

Да, ты должен будешь признать это. Наша дружба непохожа была на все другие. Исключительно мозговая, умственная, философская, она все же носила в себе пыл и бури сердечных привязанностей. И я даже не совсем уверен в том, что сердце было здесь совершенно не при чем. Я состою не из одного мозга. Разве ты не чувствуешь, сколько тоски в этих моих воспоминаниях, в этих мыслях о навсегда прошедшем счастье? Почему же это прошлое, протекшее в чтении, в прогулках, в разговорах, это такое простое недолгое прошлое молчаливого труда, почему оно волнует меня больше, чем любовные воспоминания? Почему я до сих пор чувствую к тебе неизъяснимую нежность, о которой никогда тебе не говорил, которую никогда не проявлял ни в своих поступках, ни в своих письмах к тебе? Нет, я совсем не уверен в том, что сердце здесь было не при чем.

Ты один, может быть, мог бы решить это. Но я не стану тебя об этом спрашивать. Я не

хочу, чтоб ты об этом говорил: пусть это будет одной из тех тайн (последней!), что делали таким чистым наше мужественное братство.

## ОТКРЫТИЕ ЕДИНСТВА

До этого времени мысль была свидетельницей и защитницей недовольства, грусти, наивного отвращения к жизни. Костыль, леса, подпорка и ничего больше. Я громко призывал философию каждый раз, когда хотел, чтобы она выразила и оправдала мои чувства; она была моей союзницей, помощницей, моим слугой, которую я хвалил до тех пор, пока она меня оправдывала и своим почтенным, как я думал тогда, ликом скрывала от моих врагов лирическую обнаженность моих детских воображаемых горестей. Впрочем, то, что вместо причудливого шекспировского плаща поэтов я избрал темный неприглядный мундир философии, было доказательством инстинктивной склонности к отвлеченному мышлению; теперь я могу сказать, что этот облик имел ценность и сам по себе, большую, чем многие другие, и что и под ним могло скрываться живое, крепкое тело.

В самом деле: мысль помогла мне избавиться от страдания. Метод заставил забыть результаты, и средство убило цель. \* Моей *idée fixe* было, как я уже говорил, доказать, что жизнь есть зло, доказать это решительно, неопровержимо, так, чтобы никто не мог возражать, чтобы все принуждены были сказать: это так, это иначе не может быть. Истина могла, как мне тогда казалось, исходить



только от науки, если хотите от философии, но от философии, порожденной наукой и сросшейся с ней. Все знают, что это за философия: в наши дни она зовется позитивизмом. Итак, я решил написать позитивистскую апологию пессимизма.

Со всей жаждой моих восемнадцати лет я набросился на антропологию, психологию, биологию, социологию, находившиеся тогда на той неустойчивой вершине славы, которая уже предвещает усталость. Я собирал фактический материал, списывал цифры, применял теории, пытался делать обобщения, выдумывал гипотезы и строил системы. Мало-по-малу я вошел во вкус всего этого и позабыл мировую трагедию Леопарди и Шопенгауэра и даже свое бесконечное недовольство. Мне нравилось исследование ради самого исследования; мне нравилось, что одна идея родит другую, более великую; мне нравилась чудесная обобщающая сила абстракции. Методы и понятия завладели мною; я больше не видел своего страдания, отраженного миром, но чувствовал мир, мыслящий во мне. С этого времени жизнь моя претворилась в мысль, в одну лишь мысль. Единственной реальностью мне казалась мысль, единственным совершенным выражением ее — философия.

Я утопал в фактах, но их все было мало. Сколько бы я их ни находил и ни собирал, они не могли исчерпать бесконечного. Богатство подробностей, единственное мое богатство беспорядочно начитанного человека казалось мне слишком жалким. Мой ум, стремившийся к широте и полноте, жаждал всеобъемлющих понятий, как единственного напитка, могущего удовлетворить его жажду. Теории нравились мне больше доказательств, идеи

больше, чем опыты, и двух фактов было, по моему мнению, более чем достаточно, чтобы на них построить систему. Вечно стремясь вперед, с целью обнять возможно больше реального с наименьшим количеством принципов, я неизбежно должен был прийти к монизму. Не к идеалистическому монизму, который я познал позже, а к тому монизму, какой могли мне внушить грубые материалисты, которыми я иногда увлекался. Я верил — верил — в единую субстанцию, составляющую сущность всего существующего в мире, субстанцию неопределенную, но больше всего схожую со старой материей.

Для меня этот монизм, эта вера в глубокое существенное единство всех вещей была не только словом, не только фразой, не только формулой. Я прочувствовал и пережил эту веру, как страсть, как любовь. Все различные вещи были действительно для меня одной и той же вещью; единая субстанция, скрывающаяся под изменчивой внешностью, была для меня не умственным изобретением, а самой реальностью. И меня охватывало особое чувство сладострастия, когда я думал, что все эти столь различные для слепых скотов предметы, что нас окружают, являются для меня одним и тем же предметом, одним принципом, одной материей, вырезанной и выкрашенной на тысячи манер для удобства наших чувств.

И так велика была моя вера, что я сделался ее апостолом. В то время я уже начал выходить из круга школьных товарищей и встречаться кое с какими взрослыми интеллигентами (которые были или казались мне выше меня) и с другими менее образованными, чем я, но прислушивавши-



мися к идеям, на которых я впервые мог произвести опыт учительства. Я всегда вспоминаю солнечный музыкальный июньский миг. Я находился в доме начинавшего новеллиста, которого я хотел обратить в свою веру. Внезапно зазвонили полуденные колокола и, казалось, наполнили звучным жаром весь воздух, и без того полный солнца.

„Вот — сказал я ему, показав ему перо, — подумай: это перо и этот звон в сущности одно и то же. Тут неподвижная сила, замкнутая в данный момент в дереве и железе, там сила, освобождающаяся широкими кругами в лазури. Где найти более глубокую, более громадную истину, чем эта?“

В то мгновение я видел, ощущал, касался всей душой этого божественного единства и чувствовал, как весь враждебный хаос различий соединяется в едином источнике, в едином моменте, чтобы влиться в будущее в единый поток пантеистической нирваны.

### МИР — ЭТО Я

Но и на монизме я не остановился, Я всегда был и буду непоседой. Да разве мысль может остановиться? Последняя страница не что иное, как предисловие к новой книге, а каждая новая вершина, которой достигаешь, служит только ступенью для новых полетов.

Овладев сущностью единства, я пришел к вечно новому вопросу: из чего сделано это единство?

Как называется невидимая и вездесущая субстанция, все создающая и во все претворяющаяся. Материя? Эфир? Энергия? Дух?

В общих чертах я воспроизвел в своей душе драму философии. Рационалистические возражения восставали против первых натуралистических утверждений. Вселенная из воды и огня, из вихря атомов сделалась мало-по-малу миром разума, многообразным воплощением мысли, кристаллизованным словом божиим, быстро меняющимся потоком образов, царством выявленного духа. Идеалистическая концепция победила во мне. *Esse est percipi*. Непосредственной реальностью является ощущение. Ощущение же есть факт нашей душевной жизни. По ту сторону его мы ничего не знаем. Единственным соглядатаем и свидетелем реальности является эта постоянная смена состояний нашего сознания. Мир — только наше представление. Моим философом был не только Шопенгауэр, но и Беркли.

Существует ли что-нибудь вне представления? Является ли познание открытым окном в реальность? Или это лишь система матовых стекол, пропускающих только ложные образы и прозрачные тени истины? И есть ли что-нибудь за пределами познания? Или же, как за пределами жизни, ничего? Или это зеркало с собственным отражением, кора без ствола, окно в пустоту?

Все эти вопросы, которые не приходят на ум здоровому человеку, которые профессиональный философ заглушает многоречивыми фразами и разными словесными увертками, меня сильно волновали; это была какая-то мозговая игра без отдыха, отчаянная погоня за аргументами, за



софизмами; я сделался беспокойным, суетливым, полным тревоги, словно от этого зависела моя жизнь. Теперь, после стольких лет, я вижу, как наивно я ставил проблемы, как грубо разрешал их, но тогда дело было очень серьезно, речь шла о внутренних переживаниях, гораздо более значительных, чем первая любовь или неожиданный заработок. Жизнь моя была в мышлении, и от выбора теории зависело ее направление.

Каждый вечер, между четырьмя и семью и между восемью и двенадцатью — дискуссии с друзьями и недругами, громкие, ожесточенные, яростные споры. Мы бродили вдоль желтой реки или по высоким аллеям, среди людей, среди деревьев, под нежным затуманенным вечерним небом, то дождливым, то усеянным многогранными звездами, среди тьмы, среди тумана, среди скрипящих возов, по мокрым плитам, по белеющим булыжникам, не видя ничего, не слыша ничего, не замечая того внешнего мира, существование которого то отрицалось, то признавалось через каждые полчаса попеременно. Теория познания; перцепция и представление; об'ективность и суб'ективность; идеализм и реализм; Кант и Стюарт Милль; чувства и разум; Платон и Локк; мы ожесточенно потрясали всем этим сверкающим гносеологическим оружием. Усталые, охрипшие мы возвращались домой, не приобретая ни капли уверенности ни в одном пункте, неся в душе сомнение, не является ли вся эта смесь определений, дилемм и индукций результатом смешного недоразумения, простого жалкого словесного турнира.

Но идеализм оказывал сопротивление. Он казался мне единственным логическим тезисом и

именно потому он не остановился для меня на простом равнении между внешним и внутренним. Мир есть представление, пусть так, но я не знаю иных представлений, кроме моих. Чужие представления так же неведомы мне, как сущность неодушевленных явлений. Разум других людей существует только как гипотеза моего разума, мир есть только отражение моей души, мир — это я.

Какое чудесное открытие, какое внезапное просветление ума! Ни одна идея не потрясла, не преобразовала меня так, как эта. Я не обратил внимания на ее страшное неправдоподобие; я не думал, что это могло быть диалектическим недоразумением; что это не более, как перестановка слов. Самое безумие этой идеи разжигало мою веру: никто не верит, не может верить в это? Тем лучше. Я в это верю. Самые глубокие истины всегда обнаруживаются последними.

И я верил в это всей силой своего разума; и принял это в серьез, буквально, размотав клубок до конца, до самых далеких и абсурдных заключений. Жизнь моя сделалась фантастической, божественной, хотя ничто не изменилось вокруг меня.

Мир был только частицей моего я: существование его зависело от меня, от моих чувств, от моего ума. Вещи появлялись или исчезали, смотря по моим движениям. Когда я возвращался, они вновь появлялись; уходил — и вновь они пропадали. Я закрывал глаза, и все цвета умирали; затыкал уши — и никакой звук, никакой шум, никакая гармония не прерывали молчания пространства. И — последнее заключение — когда я умру, весь мир будет уничтожен. Было у меня



одно только сомнение: неужели и я умру, как все другие? Могут ли я думать, что мой разум перестанет мыслить?

А люди! Мимолетные тени на фоне моих чувств, призраки, вызываемые по моей воле, претенциозные марионетки моего внутреннего театра. Вот забавно! Какими ничтожными и смешными они мне казались со всеми своими страданиями. Я проходил мимо них и думал: вот они, думающие, что живут, что существуют сами по себе, полагающие даже — жалкая вера — что они бессмертны. И не знают они, что они не что иное, как торопливые тени моей сетчатки; легкие воспоминания моей души; бессодержательные капельки потока образов, источники и устья которого во мне одном. Вот они, вырытые в пустоте, удовлетворенные, выступают, словно их ожидает полная, бесконечная жизнь. Им, глядя на них, я улыбался и уже не ненавидел их больше, и даже злое чувство, вызванное их несправедливым презрением ко мне, исчезало во мне. Я больше не жертва: теперь я чувствовал себя хозяином, единственным живым существом на целой площади теней.

Думаю, что в те дни я испытал нечто похожее на то, что постоянно испытывал бы бог, если бы он существовал. Я был неустанным творцом и разрушителем, и мир лежал у моих ног, словно я мог переделать его на другой лад или поглотить его единым махом. Мгновеньями я испытывал такое метафизическое опьянение от этой мысли, что мне почти казалось, что я уже не тот маленький я, которого я знал и переносил, что я вдруг вырос и преобразился, как властный бог, внезапно сбросивший жалкую человеческую оболочку..

## НИЧТО НЕ ИСТИННО — ВСЕ ДОЗВОЛЕНО

Законченный и совершенный солипсизм был самым сумасшедшим опьянением моей ранней молодости, но не самым длительным. Оно продолжалось недолго — как всякое опьянение.

Пробуждение было печально. Я привык думать, что я блок, на котором держится вселенная, что только благодаря мне жаждущее существовать ничто получает образ и длительность; и вдруг предо мной встала уверенность в том, что я смешная жертва игры слов, логической западни, головоломной метафизической шутки. Столько пыла, столько страсти, столько чудес из-за неправильного заключения, выведенного из заколдованного круга силлогизмов! Сказать, что мир есть представление, означает просто, что представление о мире и есть мир и что мир существует; думать, что другие существуют, означает только, что существует тот комплекс ощущений, направляемых волей, схожей с нашей волей, которая зовется людьми — все это только определения, ничего абсолютно не меняющие. Слова остаются те же; а перед лицом людей и вещей мы должны действовать, как и раньше, а не как-нибудь иначе. К сопротивлению, которое тела оказывают моей воле, присоединяется воля, находящаяся вне моей воли и направленная против нее — и это доказывает, что я вовсе не бог, а просто глупец.

Позже это убеждение заставило меня искать другого пути достижения бога: умножения силы своей воли. Тогда же это унижайшее, печаль-



нейшее пробуждение имело последствием то, что я бросился в противоположную крайность. Я утратил всякую веру в мысль, в разум, в философию. Мысль стала мне казаться поэтическим парадоксом; разум геометрическим и симметрическим нагромождением чистых линий без размера; философия — диалектическим выражением симпатий, ненависти, умственных или нравственных потребностей того или другого человека, а не воплощенного духа вселенной. Логика, приведшая меня к этому своим автономным ригоризмом и безостановочным шествием вперед, претворилась у меня в тонкую, хитрую, разрушительную софистику, которую я смело применял ко всем решительно идеям, как только мне представлялся к этому случай. Я сделался каким то Горгиеси из кафе, который мстил за потерянную уверенность и умаленную гордость и для забавы разрушал и искоренял веру в других людях, опрокидывал их попытки создания теорий, утверждений, пользуясь не только их слабостью и невежеством, но собственной недобросовестностью и злой волей. Мне нравилось вселять сомнения в душу догматиков, заставлять умолкать пылкие натуры, высмеивать фанатиков, унижать болтунов. Это было жалкое, гадкое, горькое удовлетворение — но мне это доставляло удовольствие. Это была моя единственная месть. Я искал общества людей не для того, чтобы, как это прежде бывало, убедить их в чемнибудь, а чтобы разубедить их, чтобы опять сделать их подобными мне.

Очень немногие могли устоять против меня. Возбужденная речь, легкость импровизации, опытность в диалектическом фехтовании, знакомство

с разными философскими системами, развязность моей библиографической эрудиции — большей частью давали мне перевес. Я владел методом: умел пускать в ход всякие тактические козни, непогрешимые уловки, мастерские удары.

Все относительно. Тут ошибки, там истина. С этой стороны истины, с той ложь. Все принципы противоречивы сами по себе; всякая метафизика есть только переложение на разные языки двух — трех общих формул, всегда сводящихся к какому нибудь мистическому единству — к единственному, непонятному, ничтожному, ничего незначащему принципу. Философские системы фабрикуются для того, чтобы оправдать наши предрассудки, иногда очень низкие потребности нашей жизни; переведем философию на язык жизни, и мы очутимся перед метафизикой свиней, нарисованной Карлейлем. Единственное, что реально — настоящие ощущения; пусть каждый живет своим настоящим и пошлет к чорту формулы и всякую веру. Следует отделаться от этой коросты, оставшейся от старых болезней. Пусть каждый освобождает самого себя, живет сам по себе и верит сам в себя и в убегающий момент, прекрасный именно своей мимолетностью.

И так как в своих авантюрах я никогда не останавливался на середине, то и из этого отрицания всех принципов и всех законов я не преминул извлечь все возможные заключения. Как раз тогда я встретился с Максом Штирнером, и мне показалось, что я, наконец, нашел того единственного учителя, без которого не мог существовать. От солипсизма сознания я перешел к солипсизму нравственности. Передо мной не было иного бога,



кроме меня. Я измыслил себе эгологию — уничтожил в себе семейные привязанности, любовь к родине, последние тормазы буржуазной привычки к корректному поведению. Я стал анархистом; я считал себя анархистом и считал единственно достойной для себя целью полное освобождение себя самого, а потом и других. Ибо для моей свободы нужна была и свобода других.

Я учредил с тремя своими приятелями индивидуалистическую группу, написал программу Свободных духом, и мы стали все вместе опьяняться вином, гашишем и дикими нелепостями.

Для меня не было больше ничего святого: даже революционные и гуманитарные программы, казавшиеся мне прежде чем-то большим, превратились в моих глазах в детские забавы неопытных верующих глупцов. Мне нужно было нечто совсем другое. Освобождение внутреннее, идеальное, радикальное, освобождение всех людей и, моментами, в помощь будущему, даже несколько бочек динамита. Я мечтал, совместно с несколькими близкими мне, о соир, который передал быгород в наши руки; я готовился ко всеобщему восстанию; мне хотелось удрать, обехать все страны, столкнуться со всеми народами, до тошноты надышаться испарениями востока, раствориться в дыму севера.

А тем временем, не имея возможности сделать что-нибудь, недовольный и возбужденный, жадный и соскучившийся, я изливал свое негодование в резких афоризмах, в едких лирических набросках в стиле Ницше и замышлял — из ненависти к философии и ее достойному сутенеру Канту — „Критику всякого разума“ и „Сумерки философии“; и я чувствовал апостолическую потребность осво-

бодить других, как я, уже казалось мне, освободил себя: с помощью смелой голой теории.

Каким образом? Основав газету. Газету постольку научную, поскольку это было необходимо для разрушения старого и тех многочисленных странностей, того неотесанного, антиидеалистического, экзотического, что еще было во мне и в моих близких.

## НОВОЕ КИПЕНИЕ

Каждый раз, как новое поколение показывается на пороге жизни, кажется, что мировая симфония должна заиграть в новом темпе. Мечты, надежды, планы, нападения, восторги открытий, штурмы, вызовы, спесь — и газета.

Каждая статья — в тоне прокламаций; каждый полемический выпад написан в стиле победных бюллетеней; каждое название — программа; каждая критика — свое взятие Бастилии; каждая книга — евангелие; каждый разговор принимает форму заговора приверженцев Катилены или клуба санкюлотов; и даже письма пишутся в темпе галопа и напоминают апостолические увещания.

Для двадцатилетнего юноши каждый пожилой человек — враг; каждая дея подозрительна; каждого великого человека следует предать суду; пройденная история представляется длинной ночью, прерываемой молнией, нетерпеливым серым ожиданием, вечными предрассветными сумерками того утра, которое, наконец, наступает с нами. Двадцати-



летний юноша даже в закате видит несмелые, белые отраженные лучи запоздавшей зари; факелы, сопровождающие мертвых, кажутся ему радостными огнями в честь новых празднеств; жалобный звон лицемерных колоколов — трубными звуками, возвещающими рождение и сопровождающими крещение душ.

Это единственный бахвальный возраст, когда страдают мужественным пороком брать быка за рога; когда ходят легким, размеренным шагом, со шляпой набекрень и вишневой палкой в нервной руке.

Каждая лента кажется нам знаменем; каждое далекое бормотание — гигантским трепетом восстания; каждый взрыв петарды — предвестником битвы; и каждый ливень — началом второго всемирного потопа.

Мы напряженно прислушиваемся к завыванию ветра и думаем, что это светопреставление; топот наемной лошади заставляет нас подбегать к окну, словно бы это был черный Буцефал антихриста; а в красных полосах заходящего солнца нам зрится огненное полушарие, расстилающееся по ту сторону последних гор, где живут и движутся гиганты, а небо окрашено не христианской лазурью, а адским огнем пожара.

В моменты особенно сильного опьянения является счастливая уверенность в том, что мы первые люди в мире, первые по времени, первые Адамы; что мы те, кто должен будет дать наименование вещам, строить города, основывать королевства, пророчествовать и во что бы то ни стало приобрести полное господство над здешним миром. Одинокие, невинные, девственные и чистые, мы

чувствуем за собой право вычеркивать воспоминания и силу ткать реальность по новым узорам.

Мир кажется нам плохо устроенным; жизнь — лишенной гармонии и величия; мысль представляется нам неистовым желанием, остановившимся на полпути, едва начатым жестом, страшным неровным рисунком, из которого никто не создал фрески.

Как много надо сделать и переделать! И мы готовы, мы тут. Долой пиджак и шляпу. Прощайте, толстые книги с заметками на полях, давшие нам такую ужасную жажду и не указавшие нам источников.

Вот мы, славные ребята, жаждающие работы. В одной рубашке, с развевающимися волосами, с лопатой в руке и карабином на перевязи, одновременно каменщики и солдаты, как евреи Эздры. Сколько шума, сколько пыли! Сколько штукатурки!

С грохотом бомб рушатся стены; подымающаяся вокруг нас пыль густа, как во время битв при старом режиме; а песни, скрепляющиеся в гуле разрушения, — это песни войны и гимны революции.

Не скроем: мы проникнуты военным духом. Ни за какие книги в мире мы не захотели бы облачиться в мундир пехотинца, но война — наш кислород, каждая осада — праздник; и нам хотелось бы, чтобы каждое слово было выстрелом в упор, а каждая идея — непогрешимой крепостной гранатой.

Но к постоянной армии мы питаем отвращение; мы стоим за волонтеров, за вооруженные банды, за бандитов, за свободных воинов, низвергающих королей, за бродячих рыцарей, ишу-



щих приключений с мечом, как Казанова искал приключений с женщинами. Наш патрон Дон-Кихот, и только из любви к нему мы терпим Санчо Пансо, но мы изливаем свой яд в ненависти к Самсону Карраско, отцу и прообразу всех филистеров, заклятых врагов безумия и того, что на него походит.

И мы рыцари, мы гофмейстеры плаща и шпаги, всегда готовые пронзить увядшее сердце благородного отца и накрыть плащом испуганную, дрожащую от холода Дульцинею, перо на шляпе и рука на эфесе шпаги, задорный взгляд и грубые движения. Чорт возьми, что вы все тут делаете?

Идите же быстрее, если не хотите быть раздавленными. Убейте себя сами, если не хотите, чтобы вас убили. Мы идем вперед, мы должны идти вперед. Все на наших плечах, все принадлежит нам.

А по дороге все ладно: пощечина, удар шпагой, и идем дальше, просто так, для упражнения. И мы думаем, что ветряные мельницы — гиганты и не стыдимся этого. Разве они менее опасны? Попробуйте-ка задеть их, и вы увидите, что деревянные крылья не мягче рук Бриареев.

Все за ничто, все или ничто! Где те миры, которые мы должны открыть, те истины, которые мы должны обнаружить, те башни и стены, которые мы должны пробить под звуки наших труб?

Мы никому не даем спуска: мы низвергаем бога с небесных облаков и царей с земных тронов. И на кладбищах не оставляем в покое ни мертвецов под их цветами и свечами, ни даже окаменелых бронзовых знаменитостей на их каменных пьедесталах.

Мы желаем освободиться ото всего и ото всех. Мы хотим, чтобы у нас была такая же голая душа, как было голо тело невинного Адама. Мы хотим отбросить плащи религии, пиджаки философии, рубашки предрассудков, галстуки идеалов, башмаки логики и штаны морали.

Нужно поскрести себе кожу, почистить душу, дезинфицировать мозг, обмыться текучей водой, вновь сделаться детьми, невинными и естественными, какими мы вышли из чрева матери. Мы не хотим больше, чтобы мертвые повелевали живым, чтобы жизнь направлялась книгами, а Разум и История, с соответствующей прописной буквы, насильно продолжали держать нас на школьных скамьях, с раскрытыми ртами для получения хлеба, разжеванного чужими зубами. Разум должен быть нашим разумом, а история должна начаться сегодня. Первый год нашей эры.

Новая земля и новые небеса. Декорации, написанные специально для данного случая. Дворцы, выстроенные в одну ночь. Длинные фасады, полные света с тысячами окон и штандартом у каждого окна. И шум, и крик на улице; необходимость идти вверх, жить в горах, видеть города у своих ног, иметь возможность презирать людей издалека.

Презирать их, а также ненавидеть и убивать их. А в глубине души любить их. Все, что мы делаем, для них. Все, что мы говорим, говорится для того, чтобы испугать их; но то, что мы делаем, делается для всех, для всеобщего освобождения, для всеобщего счастья. Мы воюем, чтобы сделать их лучшими, орем, чтобы они себя не забывали, пугаем их, чтобы они о себе заботились. У нас, в сущности, только одно стремление: быть



их учителями, быть их руководителями, их пророками, и мы согласны даже, как Моисей, умереть у входа в обетованную землю. И так как мы молодцы и торопимся, то из всех этих бурь, из всех этих бунтов выходит четыре, восемь, шестнадцать страниц печатной бумаги—обычная книжка журнала!

---

## TEMPESTOSO

Ionem veni mittere in terram.

Luca



---

### НОЧНОЙ ДОКЛАД

Итак, журнал, знаменитый журнал, завершающий мечты тех, кто желает пробиться сквозь тысячную и миллионную толпу с тем, чтобы пробудить и просветить ее; давно желанный журнал тех, кто хочет взять мир приступом и по-разбойничьи растолкать уснувших современников; журнал, столько раз предполагавшийся, журнал, который должен был служить выразителем нетерпеливых стремлений людей, никому неизвестных, дать образ и голос кучке людей темных, открыть немолодым учителям жизни, людям тридцати и сорока лет, что настоящая молодежь, свежая двадцатилетняя молодежь уже достигла совершеннолетия, что новое поколение имеет, наконец, право сказать свое слово; этот совершенно необходимый журнал был для нас словно растягивание мускулов только что освобожденного из тюрьмы узника, словно первая песнь того, кто доселе был обречен на бормотание; журнал этот, который должен был, хотел и мог быть первой мезью всех печалей, отдушиной для всех негодований, вагнеровской трубой всех вызовов, дневником всех наших мечта-



ний, бомбой для слишком долгожданных разрушений, радужными брызгами и струей самых смелых мыслей — этот знаменитый журнал, наконец, был создан.

Нужно было иметь немножко смелости. У нас не было денег; не было определенных идей на счет того, что следовало сказать, защищать или низвергать; нас было мало, и у всех нас были разные стремления, разные настроения; мы не знали, в какую сторону обернуться. И все же журнал был создан.

Мы больше не могли ждать. Наш день настал. Об этом жестоко было говорено. Целые утра мы проводили в разговорах о яростных зажигательных журналах. Он должен был называться Пламя, и приниматься в него должны были только великие произведения. Посредственные рукописи и глупые книги мы будем еженедельно сжигать на площади в зажженном для забавы костре. Мы бросим свое слово всем в рожу, даже самым знаменитым — им особенно — а ответственным лицом у нас будет свирепый носильщик, мрачный гигант, который будет подписывать журнал не именем и фамилией, а своим портретом.

Позже, уже с другими, мы задумали журнал высшей трансцендентальной философии „Будущность“ с Гераклитовским эпиграфом в заголовке: πάντα ῥεῖ. Когда же наш свободный дух закипел еще сильнее, мы заговорили о другом журнале, в котором мы жестоко нападали бы на теории, мифы, веру и людей: „Иконоборец“. И всякий раз мы чистили оружие, фабриковали отравленные стрелы и точили зубы, но потом — по той или другой причине — самой главной и постоянной была

преследовавшая нас нужда — нам снова приходилось стучевываться в тиши и отчаянии наших берлог.

Но на этот раз дело налаживалось; и ничто не заставило бы нас отступить. Необходимые несколько сотен лир мы во что бы то ни стало соберем, а идеи...

Идей было даже слишком много. Достаточно, чтобы кто-нибудь один взял в руки руль и направил журнал к намеченной цели. Остальные, подчиненные ему, последуют за ним, со смелостью людей, не знающих, куда они хотят прийти. Так оно и было. И я оказался тем, кто дал имя, идею, толчок этой маленькой толпе.

Был месяц мертвых (ноябрь), а начать мы хотели бы с наступлением нового года. В первое время у нас не было места для встреч, а кофе обходилось слишком дорого, и все же каждый вечер после захода солнца мы встречались на площади и через полный шума и света город шли к завоеванию принципов и людей.

Почти каждый вечер шел дождь; мостовая была мокрая, грязная, вся в лужах; но никто из нас не замечал. Мы шли вперед, с толпой; то нас разделяли люди и экипажи, то мы вновь собирались и останавливались под дрожащим красным фонарем, когда спор становился более жарким или когда неожиданно в мозгу одного из нас возникала новая идея; мы не обращали внимания на то, что попадали в лужи, что платье наше было забрызгано грязью, торопливые прохожие толкали нас, крупные капли проскальзывали сквозь туман нам на черные шляпы и дырявые зонты; мы горячились по пустякам, приходили в восторг от каждого названия,



от каждого штриха, от намека на будущую статью, от неопределенного обещания иллюстрации или подписки.

Каждый вечер, в течение двух-трех часов, мы опьяняли себя этими грезами из слов и бумаги, и ничто не казалось нам более важным вокруг нас и на все мы смотрели, все судили с точки зрения будущего журнала. Нам казалось, что жизнь всего города, всего народа, всего мира лихорадочно вертится вокруг нас, в таком же нетерпеливом ожидании, и что от нас, из нашего кружка никому неизвестных крикунов-энтузиастов, внешне должны выйти свет и пламя, которые озарят и зажгут весь мир. Как люди могли оставаться спокойными, когда подготавливалось новое откровение, уничтожение старых ошибок и людей?

И к нам, действительно, подходили иногда даже незнакомые люди. Слух о нашем открытом заговоре разнесся среди молодых людей, и многие заинтересовались, частью из любопытства, частью привлекаемые, похожим на наш, журнальным зудом.

Когда мы задумали этот журнал, нас было трое или четверо, но через несколько дней к нам присоединились другие. Почти каждый вечер появлялись новые лица, никогда не виданные нами и незнакомые нам типы, и нам приходилось пожимать все новые руки, убеждать и подогревать все новых последователей. Приходили студенты в поношенном черном платье, с фиолетовыми кругами под глазами от переутомления или излишеств; нищие и шумные художники; робкие безбородые юноши, задумчиво и удивленно слушавшие громкие слова и гордые планы старших; попадались даже взрослые молодые люди, с белокурыми и каштановыми

бородками, привлеченные этим южным ветром, производимым молодежью, вставшей в неистовство после слишком долгого и бесплодного ожидания. Следовало говорить с каждым в отдельности, почти тайком; ощупывать их, испытывать, узнавать их; кое с кем из них мы потом снюхались. И приятельское ты превращало вчерашнего незнакомца в избранного товарища.

Следовало собрать все эти разбросанные силы; сделать их компактными, массивными, объединить общим усилием и швырнуть их, наконец, дружным победоносным зарядом против невольного врага. Из всех нас у одного меня были кое-какие фундаментальные идеи и даже некоторая способность теоретических построений. Все уже признали меня незаменимым капитаном будущего нашего предприятия. После целого месяца разговоров и собраний на ходу во время лихорадочных декабрьских прогулок, я решил написать нечто вроде вступительной речи или проспекта и прочесть всем нашим будущим сотрудникам, дабы они открыто высказались, пойдут они за нами до конца или нет. У нас, как я уже говорил, не было своей комнаты; пришлось остановиться на мастерской одного из наших, художника, приехавшего из Рима, сиявшего спокойным рвением. Но мастерская эта, в действительности, была не совсем его: она принадлежала Академии, которая ее любезно предоставила ему, не подозревая, конечно, какого рода друзья были у этого человека. „Тем лучше!—решили мы.—В стенах академии мы объявим войну всем академиям“.

Но следовало проникнуть туда тайком, чтобы ничего не заметили сторожа пышного дворца.



бране было назначено, кажется, на десять или одиннадцать часов вечера. Приходилось пройти через маленькую калитку в стене, в уединенной улице У калитки сторожил член общества. Из сырости мглы появлялись люди, закутанные в плащи и пальто, и их отводили на цыпочках, через винтовые лестницы и длинные запутанные коридоры с деревянными стенами в величественную мансарду, где должно было совершиться торжественное основание журнала. Три-четыре свечи, прилепленные к торчащим из стен гвоздям или вставленные в бутылки из под лака, таинственно освещали огромную комнату, пересеченную толстой балкой, конец которой скрывался в углу. Окружавшие нас полотна, изображения женщин в красных одеждах и ангелов с серебряными трубами, героические эскизы голых тел, лиц, и лошадей, и бледных прерафаэлитских прелестей пристально глядели на нас своими глазами из свинцовых белил. Каждый устроился, как мог; кто на стульях с продранными соломенными сиденьями, кто на пустых ящиках из под картин, кто на столах и даже на полу; через четверть часа комната наполнилась папиросным дымом и подавленным говором.

Я вынул листки своей речи, сразу все стихло, и я стал читать. Теперь я не мог бы повторить того, что я сказал в ту ночь мнимого заговора и веселого ожидания. В моей речи было много литературы, много энтузиазма, не мало напыщенности, бесконечных обещаний, страшных угроз, и попытка связать воедино идеи, намерения, стремления и усилия всех молодых людей, которые слушали меня, верили в меня и самих себя. Были

среди нас художники, близкие к поэтам и поэзии, чистые литераторы, пропитанные критикой и историей, неистовые философы, жаждавшие полемики и влюбленные в полеты и в пропасти, языческие декораторы и бессильные мистики, любопытные бездельники и принципиальные бродяги, — и для всех следовало найти нужное слово, девиз, цель, надежду, которые бы их объединили, разбудили, которые, наконец, неизбежно вовлекли бы их в общую работу.

Необходимо было найти имя, символ, знамя, под которое они собрались бы все: поэты и мыслители, художники и мечтатели. Ни одно имя, из священных традиций нашего города, нашей Тосканы, нашей Италии не подходило к этой цели лучше, чем Леонардо.

Леонардо был тот, кто лучше всех рисовал загадочные души, скалы, цветы и небеса; кто лучше всех ученых терпеливо искал истину среди машин и трупов; кто описывал жизнь и красоту более глубокими словами и красочными образами, чем профессиональные литераторы; кто, как влюбленный в невозможность, мечтал о божественном могуществе земного человека и завоевании небес. Его крупное, задумчивое лицо слишком много знавшего старца, с длинными сжатыми губами, с почтенной мягкой бородой, стояло перед всеми нами, и его мысли (в то время впервые сделавшиеся доступными и самым жалким) часто вставали у нас в памяти. Ему мы и посвятили наше выступление из тьмы. Журнал должен был называться не иначе, как Леонардо.

Среди этой резвой молодежи, согласной на все авантюры, меня охватил новый приступ веры.



И в своей краткой речи в ту ночь я провозгласил полное сознательное язычество против расплывчатости и трусости вековой назаретской стадности; наш свирепый индивидуализм (или, как тогда говорили, персонализм) против солидаристического и социалистического бреда, умерщлявшего тогда дух нашей молодежи, воображавшей себя революционной, растранивавшей все краски своей одинокой личности в сером болоте бездеятельной толпы, в жалкой политике униженной и оскорбленной Италии; и, наконец, непримиримый идеализм философов, для которых внешний мир не существует, реальность — тень, мечты, мир — несвязный фрагмент нашего ума, а старые истины — ложь, готовая к услугам стада, для которых верное лишь в противоречии, радость в низвержении, свет в абсурде. А над реакцией я водрузил, как последнее слово и общее знамя, веру в свободный от предрассудков разум, божественные качества поэзии и неиссякаемое чудо искусства.

Время от времени, подымая близорукие глаза от исписанных листков, я видел перед собою, в игре темных теней и красноватого света, внимательные лица моих товарищей, беспорядочные ряды моей армии, и мне казалось, что в некоторых глазах можно было прочесть жадный трепет согласия, а в ушах у меня раздавалось ускоренное биение двадцати-тридцати сердец. Горячее дуновение симпатии охватывало меня всего и так взволновало меня, что последние фразы, написанные мною самыми яркими, самыми гармоничными словами, в одиноком холоде зимней полночи, я прочел прерывающимся, задыхающимся, от внезапно охватившей меня страшной нежности, голо-

сом. Потому ли, что я чувствовал, что моя настоящая жизнь — жизнь апостола и искателя приключений — начиналась в этой тихой комнате, перед этими будущими людьми, в этот столь торжественный для всех нас момент?

Не знаю, что подумали мои слушатели об этой резкой, взволнованной речи. Знаю только, что сейчас же после нее почти все записали свои имена на большом листе, предусмотрительно приготовленном кем-то, заменявшим секретаря. Каждый из этих молодых людей пожал мне руку, и издание журнала было окончательно решено. Каждый внесет немного денег и много труда.

## ДВОРЕЦ ДАВАНЦАТИ

Каждый из нас был обложен военным налогом: десять лир в месяц. И все уплатили. Была установлена иерархия; избран был секретарь, который должен был придать душу и тело нашему замыслу. Мы вместе с ним обошли типографии, где нас подозрительно оглядывали управляющие и метранпажи, понимавшие, что мы были неопытны и бедны. И мы получили, наконец, возможность снять комнату, собственную комнату — редакцию.

Как красив был тогда на фоне безобразных развалин рынка дворец Даванцати, с его фасадом из благородного старого камня! Посредине выступал гордый герб семнадцатого века, темный и на темных же кронштейнах, а вверху прелестная галерея, воздушная, свободная, чисто флорентийская, открывала смотревшему на нее снизу прохо-



жему широкий вид на мраморные башни, освещенные холмы и ясные небеса. Это был поистине дом денежного купца - выскочки: массивный, как его состояние, вверенное банкам Франции и запада; мрачный, как его душа еще не совсем смягчившегося партизана; основательный и просторный, как его жизнь гурмана — гуманиста и трудолюбивого мужика. Быть может, это было действие имени, но мне вспоминалась проза даванцатианского Тацита, такая сдержанная, сжатая, простая и в то же время сочная, мясистая, мускулистая, как у моего Маккиавелли. Нужно было видеть в те времена этот дворец внутри: грязный, темный, с полуразрушенными лестницами, сбитыми стенами; ограда на галерее была наполовину разрушена, а двор полон косых поворотов, загаженных углов и брошенных ящиков. Теперь его вычистили, выскребли, заново отделали, сделали из него музей с соответствующими каталогами и сторожем в фуражке с золотым кантом; теперь надо заплатить за вход лиру, потому что внутри все красиво, все кокетливо разукрашено; там мебель от антиквариев, стулья дубовые, картины все хороших мастеров, гобелены, выкупленные у евреев. И все так чисто, так мило, так утешительно, так нарочно прилажено для иностранцев, для снобов, для образованных господ, желающих иметь представление о флорентийском доме пятнадцатого века, отделанном честолюбивым торговцем старьем. Но это уж не наш дворец Даванцати, не мой дворец Даванцати, грязный, заброшенный, но за то полный живой жизни, населенный настоящими людьми, а не тканями, статуэтками и старинными скамьями. И уже во всяком случае это не тот дворец Даванцати,

который приютил первое наше творение, слышал наши шумные споры, сабельный лязг наших дуэлей, радостные песни и сумасшедший смех нашего первого нашествия на мир. Мы снимали там комнату у мирного, добродушного толстяка, который жил тем что выделявал клетки для сверчков и занавески для парикмахеров. Комната была невелика и меблирована, кое как. Мы удалили кровать, ночной столик и комод и оставили только пару столов, провалившееся во многих местах кресло и несколько хромоногих стульев. Но прошло несколько дней, и эта голая мешанская лачуга преобразилась. Хозяин, быть может, стесняясь грязных стен, принес нам большую связку лавровых веток, которые украсили стены и потолок. Мы принесли фотографии, картин, статуй, и меж сухих листьев показались голые женщины Тициана, полные достоинства старцы Леонардо, танцующие фавны и причудливые Аполлоны. На одной стене висели на гвозде две фехтовальные рапиры, а на входной двери, ибо у нас был собственный ход на лестницу — под большим красным солнцем, протягивавшим во все стороны свои кривые, как разозлившиеся змеи, лучи, красивыми, черными буквами изображено было имя нашего божественного покровителя. Там, в этой почти пустой комнате, каждый вечер был праздник. Мы приходили туда на два-три часа; там встречались, спорили, говорили, волновались. Все служило поводом для собраний. Приходили еще другие молодые люди, нетерпеливые и робкие. Моего Джулиано не было в Италии: достаточно было одного моего письма, в котором я с жаром описывал приготовление к великому выступлению, мои надежды и первые стычки, и он примчался и



ринулся в бой, в котором тотчас же занял одно из первых мест.

Начали поступать рукописи (поправки, сокращения, отказы); терпеливо заготовили мы сами первые клише (твердые желтые деревяшки, на которых резец яростно выдавливал буквы, то и дело выходя за черную черту); разосланы были печатные объявления (первый военный бюллетень, и уже в нем слышались трубные звуки). Что за праздник был, когда пришли первые корректурные гранки! Еще влажные, на скверной бумаге, с непросохшими чернилами, полные опечаток и смешных ошибок, они все же показались нам божественными посланцами славы, первым нашим движением бедных немых к людям и бессмертию.

Мы хотели, чтоб наш журнал был абсолютно не похож на другие и чтобы во всем, даже во внешности, он был как можно ближе к природе. Вместо глянцевої белой бумаги — темная, ручной обработки; деревянные клише, вырезанные нами самими, вместо механических безличных металлических сеток; рисунки и символы вместо подписей; поэтические звучные имена вместо наших негармоничных, никому не известных фамилий. И все мы дружно старались, чтобы наш журнал вышел красивым, богатым, оригинальным, поразительным во всех отношениях. Разделение труда было отмечено: поэты у нас писали о философии; философы вырезали по дереву; ученые излагали свою метафизику в лирическом тоне; художники занимались критикой и теоретикой.

Мы жили в какой-то радостной сфере, в неустанным вихре, в нервном неистовстве, словно

жизнь каждого из нас в отдельности и всех вместе только теперь должна была начаться; словно человечество теперь только пробуждалось от векового сна, и надо было все переделывать и перестраивать. Какое то дуновение Sturm und Drang проходило над нашими волосами, когда мы сидели, нагнувшись над корректурой или рисунками, когда мы стояли и громко, с пылающими лицами, рассуждали о величии искусства, о гении Микель-Анджело или о существовании материи. А когда мы выходили, то внизу, в коридоре, мы затевали мнимые споры и дрались, чтобы дать выход излишку накопившейся у нас от этих волнений энергии. Мы не брезгли никаким оружием: рапиры, палки, кулаки, все пускалось в ход. Мы делали отчаянные фехтовальные выпады, кончавшиеся иногда кровопролитием, и приходили домой с разбитыми руками и исцарапанными лицами, трепещущие от счастья, словно и тело имело право на участие в празднике духа.

Наконец, ожидание кончилось. Проговоривши, прокричавши и проработавши целых два месяца, мы пустили первый номер в машину, и однажды вечером в восьмом часу, по темным лестницам дворца пронесли первые тюки Леонардо и доставили нам, нетерпеливо в молчании и тревоге ожидавшим его. Было 4-е января 1903 года.

## ВЫХОД В СВЕТ

Журнал, или вернее литературная газета, вышла как-раз такой, какой мы хотели: непохожей на все другие. И жизнь ее, как и у ее сотрудников, была неровная и скитальческая.



Начали мы с восьми страниц большого формата на бумаге ручной работы с вырезанными на дереве буквами. Газета выходила раз в десять дней и трактовала обо всем (даже о политике), но больше об искусстве, чем о философии, философия же держалась такого лирического, странного, фантазерского тона, что перестала казаться философией.

Но прошло несколько месяцев, артисты и литераторы перестали вносить деньги, перестали работать. Газета нравилась и не нравилась (любопытство, восторг, снисхождение), много читалась, в особенности молодежью, но газетчики обсчитывали нас, а подписчики насчитывались не сотнями. И к лету осталось у нас только двое философов: я и Джулиано. Но мы не сдались. Газета превратилась в журнал. Уменьшился ее формат; бумага была уже самая обыкновенная, слоновая; выходить журнал стал реже, но с большим количеством страниц; искусство было отодвинуто на задний план; литература и политика совсем были изгнаны; и философия сделалась в нем, наконец, госпожей, полной, безраздельно властвующей хозяйкой.

Это была, конечно, философия на наш манер, гордо и насмешливо противопоставлявшаяся философии традиций, учебников, профессоров и университетов. Мы хотели низвергнуть самую идею философии и придать мысли поэтическую образность и полет; а в поэзию ненавистных нам литераторов вложить гриб, закваску, эссенцию мысли. Философия должна была начать с нами новую жизнь, совершенно противоположную той, какую она вела в прошлом. До сих пор она бы-

ла рациональней, мы же всеми силами и способами боролись с интеллектуализмом; она всегда была спекулятивной, созерцательной, а мы хотели, чтобы она была активной, творческой, чтобы она сыграла свою необходимую роль в перестройке мира.

Нужно было, поэтому, начисто вымести прошлое и настоящее этой философии лентяев, слепцов, трусов.

В Италии тогда господствовал позитивизм, и мы поэтому, сломя голову, обрушились на позитивистов. К нам вернулись в усиленной форме варварские инстинкты прошлых лет: мы начали выскребывать, разрушать и низвергать направо и налево, порою совершенно справедливо, порою слишком опрометчиво, но всегда искренне и во имя великой любви. Эти сражения и битвы были лучшими страницами в каждом номере. Учреждена была периодическая регулярная бойня для ничтожеств и знаменитостей; и замышлялась массовая резня и революционная осада схоластических бастилий.

На ряду с этой работой по очистке от старого, пробивались и ростки нового строительства: метафизические схемы, открытие и изложение новых теорий, мифические и пиндарические мирозерцания, а главным образом программы, программы и программы. Мы так переполнены были мыслями и намерениями, что не имели времени все развить и обдумать, и наши умственные перипетии сменялись так быстро, что мы едва успевали набросать схему одной системы или исследования, как в нас уже зарождались и бродили новые планы.

Мы не только разрушали. Нет. Мы первые в Италии заговорили о многих итальянцах и ино-



странцах, забытых или оставленных во мраке, которых теперь все цитируют, а тогда никто не знал и по имени, и мы говорили о них с уважением, с любовью, с восторгом. Мы первые, или почти первые, распространили новые идеи, мало известные, или еще не оформившиеся, умственные течения и школы, о которых у нас никто не знал и не думал. Мы вновь пробудили увлечение старыми мистиками; мы внушили некоторым юношам неожиданный интерес к математике; благодаря нам ставились и обсуждались проблемы, казавшиеся очень далекими от нашей национальной культуры. Искусство же дополняло странную новизну этого необычайного идейного неистовства и служило ему чем-то вроде естественного аккомпанимента: вырезанные на дереве заглавные буквы, иллюстрации вне текста, цветные заставки (скачущие кони, эфесы мечей, колосья с налитыми зернами, гиганты с пращей и рыцари с копьём и щитом.) напоминали цветы, разбрасываемые на торжественном празднике или радостный хор в стройном марше героев волонтеров.

В первое время возобновления журнала мы были одиноки, и почти все экземпляры раздавали даром. Но мало по малу к нам присоединились другие, еще издавека полюбившие наше дело. Пришли и взрослые, серьезные люди, понявшие, насколько искренни и глубоки были наши вакханалии идеалистического лиризма и наша свирепость безбородых завоевателей. Они дали нам денег, дали книг, стали присылать статьи. Таким образом, на широких, разукрашенных страницах нашего журнала замелькали имена известных ломбардских математиков, неаполитанских поэтов, известных

философов и выдающихся ученых адвокатов, старых и строгих ученых и молодых студентов, впервые увидевших свое имя в печати. Число друзей и подписчиков возросло; далекие иностранцы читали и поощряли нас, итальянские и заграничные журналы писали о нас, спорили с нами или восхищались нами.

Это была поистине божественная героическая эпоха жизни нашего Леонардо и продолжалась она немногим более двух лет. Мы сделались силой, с которой приходилось считаться; мы привлекали всеобщее внимание, наши книжки, битком набитые идеями и звонкими пощечинами, ожидалась многими с нетерпением; недоумение сменилось в некоторых восторгом, а презрение открытой ненавистью; даже женщины, главным образом, увлекающиеся девушки — проявили к нам, даже не зная нас, симпатию, граничащую с любовью.

Журнал наш сделался центром и органом философских движений; от него исходили инициативы, коллекции, переиздания; даже для простого читателя пятисантимных газет он представлял нечто органическое и вполне определенное. Мы же с Джулиано, основатели и творцы, уже больше не были одинокими и неизвестными. Мы приступили к выпуску первых больших и маленьких книг по искусству и философии, которые должны были укрепить и расширить сферу нашей деятельности; нам предлагали сотрудничать в других журналах, нас приглашали произносить речи и читать лекции.

Наши две фамилии, всегда соединенные, как имена двух братьев, были уже известны новому поколению, и многие обращались к нам, как



к духовным руководителям, как к миссионерам свободной веры в возродившийся дух. Мы постоянно были возбуждены, вечно что-то открывали, чем то были заняты: каждый день надо было открывать новые души, читать новые книги, исправлять бесконечные корректуры, давать отпор полемике, отвечать незнакомым товарищам и укреплять новую дружбу.

Теперь мы жили настоящей жизнью, жизнью неожиданностей, выпадов, творчества, формации, подема. Но эта-то интенсивность жизни, это счастье и утомили нас. Спустя два года мой Джулиано, единственный настоящий мой товарищ, покинул меня ради других связей, ради других стран. Я все же продолжал и остававшись один; ко мне пришли другие люди, другие течения прошли через журнал.

Но новые, последние товарищи не имели ни того пыла, ни того бескорыстия. Другие, более опасные мечты заполнили мою душу и смутили мой ум. Я поплыл по туманным морям магии; в старых верованиях и в реставрированных эсотеризмах я видел первые ступени лестницы, ведущей к божественности. Идеализм перешел в мистицизм, мистицизм — в оккультизм, а оккультизм мог бы перейти в теософию, если бы я не остановился во время.

Энергия во мне медленно убавлялась; порыв угасал; общая симпатия ко мне ослабела. От богатой, живой оригинальности прежнего времени в журнале осталась одна только интересная смесь. Даже внешний облик изменился. Размеры журнала все уменьшались, и он стал приближаться к обычной форме; иллюстрации исчезли; вновь

появилась литература. Дух мой, растерявшийся в беспредельных своих стремлениях, по сравнению с которыми кучка печатной бумаги становилась смешной и жалкой, отдалялся от моей работы. Внутренние несогласия и внешние расхождения ускорили конец. В течение пяти лет я изливался, изрыгал проклятия, мечтал — перед другими и для других. Это больше не удовлетворяло меня: труд был слишком велик, и в то же время цели казались мне слишком ничтожными. К тому же, после стольких лет цветения и жатв, ум нуждается в отдыхе. Я снова чувствовал потребность побыть в одиночестве, собраться с мыслями.

И после пяти лет усилий, борьбы, исследований и безумных попыток я добровольно убил свое творение, свое детище, бывшее для меня дорожкой моей жизни. Дело было в разгаре лета, — в августе. Вышел последний номер, вооруженный пуком острых стрел, в обложке цвета крови, но он был скучный, печальный и тяжеловесный, как гроб убитого любовника.

## БЕГСТВО ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Слишком много воспоминаний, слишком много тоски. Этот цвет, этот жар прошлого, эти факты и внешние переходы, что это — как не поэзия, не литература, не суетность? Главное здесь история души, моей души, а не дворца или журнала. Я не должен был бы впадать в подобные слабости и, если я не стесняюсь их и не стараюсь совершенно изгладить их следы, то потому только, что и они симптомы и доказательства патетической и сенти-



ментальной основы, которую мне не удастся утопить в самых диалектических увлечениях. Неужели я не способен видеть идею без тела и тени, не могу понять системы, иначе как в форме жизни и осязательного, чувственного, обыденного опыта? Скорлупа, шелуха, платья, маски суть — я это знаю, и я это прекрасно знаю, — только скорлупа, шелуха, платья, маски. И не что иное, не что более существенное, более интимное. Шелуха сходит, платья снимаются, маски линяют, а остается понятие, внутренний несокрушимый скелет истины. То, во что он облечен, несущественно, изменчиво, преходяще. Внешние проявления для чужого употребления, проводники этих духовных посланий — слова, слова высказанные, слова писанные, листы со словами напечатанными, листки с рисунками, листки, выходящие время от времени, листки, сшитые в брошюру, в книгу, в томы, суть только попытки, поиски осязательного, маленькие отверстия для света, бормотание — языки в периоде формации, языки, которые мало кто понимает, которые никто не хочет изучать. Каждый из нас, у кого действительно есть своя жизнь, — я подразумеваю собственную, личную, внутреннюю интеллектуальную, метафизическую жизнь, — есть Адам, который должен дать новые наименования всем вещам, создать свой лексикон, свой язык. Слова отцов в его устах имеют другой вкус, другое значение, звучат по иному, в другом тоне. Он будет говорить вам о свете, а перед ним будет стоять мрак; каждый раз, когда он произносит простое, простейшее, банальнейшее слово, человек, например, — в его уме стоит его человек; это, верьте, не тот человек, что стоит на углу, и не тот, что смотрит

в окно, не человек Платона, не человек бога, а его человек, и никто другой: его идея, его тон, его мечта, его легенда и образец человека.

И каждый должен понять самого себя, свое я, когда оно уже прошло, когда оно навеки умерло, вместе с другими мертвецами, с другими я, которые мы ежедневно убиваем медленным ядом забвения; а когда мы вновь хотим заговорить о нем, уже несуществующем, нам приходится восстанавливать его лексикон, его грамматику, его умственный синтаксис; и ни к чему не поведет, если мы станем рыться в тряпках, служивших ему в те времена праздничными костюмами или вновь бормотать эпитафии, которые он тогда диктовал, чтобы зафиксировать (то есть сделать неподвижными, иначе: убить) свои интуиции, свои мимолетные завоевания вечно убегающего. Тело, материя недостаточны: мы добиваемся духа, того, что в глубине. И если нам не доступна живопись, мы довольствуемся геометрией. Я не хочу быть сентиментальным певцом самого себя. Вы хотите анатомии? Вот вам анатомия: сдерите кожу, режьте, препарируйте. Вот мое тело, вот моя плоть — но где же оживляющее их дыхание, где воплощавшаяся в них идея? Не в этих ли пыльных воспоминаниях, не в этих ли оставшихся на дне ящика безделушках, не в этих ли покрытых плесенью почти десятилет бумагах? Они не здесь. Один я могу рассказать, где был главный нерв моей мысли во всем этом вихре писаний, размахиваний знаменами, нападков и самозащит и шумного миссионерства. Sturm und Drang прошли (история, анекдот, живописность), но источник этого вихря, этой бури в моем я, которое остается, которое



вечно, абсолютно, которое сообщается с вечностью, должно принять участие в вечности.

Этим главным центром моей мысли в то время было бегство от реальности—непринятие, отвержение реальности. Радикальный пессимизм не был больше последним и единственным моментом моего мирозерцания, и я больше не думал предстать перед испуганные очи людей с планом всемирного добровольного отравления. Но космическое страдание, отойдя во мне на задний план, как теория, сделалось моим настоящим душевным состоянием, осталось в крови и душе, как неизгладимый осадок. Я больше не формулировал его, но каждое мое понятие было им проникнуто. „Не рождается во мне ни одна мысль, которая не носила бы образа смерти“, — писал Микель-Анджело в старости; во мне не рождалась ни одна идея о вещах без горького привкуса презрения. Говорят, юности свойственна ясность надежды. Это не верно, по крайней мере не для всех верно. Ибо прежде, чем приблизиться к жизни, юноша, если только у него не совсем свиная душа, питает столько великолепных ожиданий и стремлений, такую сильную уверенность в близости блаженства и божественной мощи, что реальность, как она есть, что действительная жизнь не может не показаться ему рядом пощечин и опровержений. Он ждал рая, а очутился в самых зловонных кругах ада; он надеялся встретить братьев с протянутыми руками, а наткнулся на стадо жадных, ревуших, бодливых зверей; он воображал, что жизнь—чистый камень, хороший мрамор, на котором он может твердым резцом воли выбить свое изображение, а вместо того у него в руках грязная,

навозная масса, которую нельзя лепить, которая разваливается.

Слишком много идеализма, скажут благоразумцы, приучившие свой нос к навозной куче. Ну, да: многие юноши умирают от этого „слишком“, а не от той капли свинца, что пронизывает их грудь. Но поистине скажу я вам: нет более верного признака мелкой душонки, чем самодовольство. Ясность может прийти только, когда кончается молодость, когда завершён круг внутри и вне вещей, и человек утешается в бесконечном ничто, смакованием мгновения, которое не вернется.

Итак, в то время я испытывал слепое отвращение к реальному, я не одобрял и не принимал мира таким, каков он есть. Я держался гордо и презрительно, словно какой-нибудь низверженный в земной ад Капанео. И я стремился отрицать реальность, отрицать слепки с реальности, презирать законы реальной жизни, переделать мир на свой лад, создать более совершенную реальность.

Чем был этот дух бешеного анархизма, этого бесстыдного неуважения к людям и догматам, если не реакцией против прошлого, против устоев, против установленного, узаконенного? Чем была вызвана страсть ко всему сумасшедшему, нелепому, если не тошнотой от банальности, обыденности, благоразумия и здравого смысла? А презрение к нравственным устоям и хорошему воспитанию, к народным божкам, умным методам, мещанским добродетелям, разве это не усталость от проклятого неизменного факта, от уважения ко всему, от всех целей, от всех вер?



Я боролся с позитивизмом, потому что позитивисты уверяли, что мы только нотариусы реальности; и я увлекался идеализмом и доводил его до крайности потому, что от этого средоточия всего в духе и сомнения даже в самом существовании тела отдавало странностью и парадоксом. Из ненависти к настоящему я забрался в берлогу с несколькими гениальными мертвецами; из ненависти к существующему я предавался мечтам; из ненависти к людям я искал одиночества полей и молчаливой дружбы растений. Мое излюбленное слово в те времена было освобождение. Освобождение от того и другого, от того и от сего, от того, что здесь, и от того, что там: освобождение от всего.

Я хотел раздеться и раздеть других, вернуться к полной наготы, к ужасающей свободе радикального атеизма. Когда же мне показалось, что я совсем обнажен, что земные горести и заботы меня уже не трогают, я решил сфабриковать себе свой собственный мир. Двумя способами: силою духа и обращением к фантастике, волей и поэзией.

Знаменитый прагматизм интересовал меня теперь только, как правило для исследований, как предосторожность в пути, как усовершенствование метода. Я заглядывал дальше. Во мне возникали тогда тауматургические мечты: необходимость, желание очистить и укрепить дух, чтобы он был способен действовать на вещи без помощи орудий и посредников и таким путем достигнуть чуда, всемогущества. Через волю к вере! я хотел прийти „к воле действия“ — и возможности действия. О, если бы воля могла распространить

круг своих велений от собственного тела к окружающим его вещам, сделать так, чтобы весь мир был его телом, послушным в каждой своей части каждому его приказу, как теперь ей послушны эти несколько связок мускулов! Я притворялся, что исхожу от логической предпосылки (прагматизм), но в тайниках души я жаждал божественности.

Подобный же инстинкт привел меня к искусству. Я терпеть не мог литературы: все фальшивое, эlegantное, притворное, нарочное, декоративное, что было в этом слове внушало мне отвращение и, отчаянно любя некоторых умерших поэтов, я все же питал непреодолимую ненависть к людям, сочиняющим стихи, новеллы и романы для чужой улады и собственной пользы. Философия казалась мне много благороднее и выше искусства. Но философия и привела меня к искусству. Чтобы выразить с большим чувством, с большей яркостью некоторые свои мысли, я стал злоупотреблять образами; я испробовал форму мифа; от мифа я перешел к легенде; я по ночам придумывал диалоги, видения; мало по-малу я втянулся в них в качестве собеседников типа, созданные поэзией и традициями, которые скоро зажили собственной жизнью, заговорили другим языком, стали вмешиваться в новые авантюры. Начав с лирических излияний, я, сам того не замечая, впал в настоящее повествование, и идея, бывшая довлеющей, сделалась сырым материалом для фантазирования; тяжелые переживания, мои идеи, горечь моих разочарований, буйность моего миссионерства лучше, сильнее можно выразить в этих расплывчатых поэтических образах. Так вокруг меня невольно



родился целый фантастический мир, противоположный миру реальному, куда я мог удалаться, предаваясь воспоминаниям, проливая слезы, где я был господином и королем без закона. Тогда то я познакомился с бледным дьяволом наших дней; тогда же я выслушал исповедь больного дворянина и королевы из Фуны <sup>1)</sup>; слышал стоны многострадального Гамлета и тайны Джованни Буттадео (Вечного Жида) и Дон-Жуана Теиорло <sup>2)</sup>. Они являлись мне из мрака нереального мира, и все же казались мне более живыми, чем все те живые, что шаркали ногами подле меня; только их мне было дано понимать и ими быть понятым, только их любить и ими быть любимым. Это был замкнутый, темный мир, где мгла царил над светом, а трагическое выходило из обычного; мир, населенный бледными юношами, потерявшими все иллюзии, людьми одержимыми и мучимыми манией какой-нибудь одной идеи и новыми ужасами; мир, в котором действие редко, а мысли бурны; где нет резкой грани между правдоподобным и вымыслом, между жизнью и смертью. Это был иной, мой мир; правда, темный и страшный, но, по крайней мере, это был не этот мир, не мир, принадлежащий всем. Так, в оиниетизм того, что чудом воли я склоню и переделаю реальность, я сотворил себе убежище временной реальности, населенной послушными призраками трез. Поэзия—лестница к божественности, а искусство—первая ступень творения. Сегодня поэт и пророк, завтра—может быть, бог.

## УМЕРШИЕ БРАТЬЯ

Я не принимал реальности; не нахожу более сильных слов, чтобы выразить мое отвращение к физическому, человеческому, рациональному миру, давившему меня, не дававшему пространства и воздуха моим беспокойным крыльям. Но нужны были, конечно, другие слова: эти не все говорят, не все освещают. Я не желал этой реальности потому только, что желал другой (более чистой, более совершенной, более ангельской, более божественной), и я тяжело боролся, чтобы долгожданный гармонический духовный мир, подобно статуе, которую мозг узрел и захотел извлечь из грубого камня, только что отторгнутого от скалы, вышел наружу. Я не принимал обыденной поверхностной реальности, ибо жаждал реальности лучшей, более истинной, более глубокой. Я отрицал прошлое, отрицал будущее, чтобы устремить взгляд, желания, всю душу к более достойному, более чудесному будущему.

Но этим еще не все высказано: есть у меня на душе одна тяжесть, которой успокоить я не могу. Я отрицаю прошлое,—но разве не прошлому принадлежат великие духи, похороненные и, тем не менее, живые и присутствующие здесь братья, давшие мне столько утешения в годы одиночества, в годы исхода, показавшие мне путь к освобождению, давшие мне мысли, образы, слова, которые составляют мое настоящее я, сделавшие меня, пусть маленьким, пусть большим, но таким, каков я есть? Разве не они разделяют нашу бессонницу,

<sup>1)</sup> См. Папини — Трагедии повседневности.

<sup>2)</sup> Idem.



утешают наши тревоги, не они подстрекают нас к бою, не они — вдохновляющие нас тени лучших дней? Им одним я обязан брезгливостью к посредственности, тоской по совершенству, героическим недовольством, первыми толчками к восхождению, лестницей к бегству, пиками для восстания, орудиями для разрушения, самой идеей более небоподобного мира и блаженства без тягостей и грязи.

И их я, действительно, принимал, — но что я говорю? — я искал, я призывал их, с большей любовью, чем может быть у сына к любящему отцу, с большей нежностью, чем бывает у брата к старшему брату. Эти мертвецы и мои холмы; эти мертвецы и мои деревья; эти мертвецы и мой ищущий дух. Противоречие? Ничего подобного. Эта-то часть моего прошлого (эти люди, эти мертвецы, эти мои учителя и союзники) и заставляла меня презирать все остальное, она то и дала мне тот свет, ту душу, что стремилась наружу. Я принимал именно то, что делало для меня неприемлемым остальное. Я любил их, потому что они возбуждали во мне ненависть к другим; я стремился к ним потому, что они помогали мне бежать от всего остального.

Но к чему все эти оправдания? Если подумать хорошенько, то это только крючкотворные увертки для искренней первоцветной симпатии. Я чувствовал себя хорошо с ними и только с ними; я смотрел на мир их глазами; я мыслил по их указке; они были мне необходимы, как хлеб, как небо, как вода, как все прекрасное, чистое, лучшее, что ничего не стоит и без чего нельзя жить. Я любил их больше, чем можно любить женщину, ибо в женщине одно лицо и одна душа, а они мне

давали десятки, тысячи душ: душу для счастья и душу для страдания; душу для преодоления и душу для освящения. Я любил их беспрдельно, отчаянно, безумно. Я уже упоминал о том, что всегда стремился к величию. Что хотел — как бы я ни был мал, ничтожен или безумен — быть великим, сделаться великим. Только с ними, с гениями, с великими я мог обрести, я мог почувствовать ту тоску, что возносит на высоты, над звериной толпой равнин. Они давали мне ту пищу, которая была мне необходима; они оправдывали каждый мой инстинкт; они встряхивали меня, когда я начинал ослабевать; они улыбались мне с портретов своими мертвыми глазами, когда я крепко стискивал своими худыми пальцами черное перо и следовал на бумаге, своим разбросанным почерком, за развивавшеюся мыслью или рассказом призрака.

И я чувствовал их такими близкими, что считал всех их своими; и так живы они были в моем представлении, что я не мыслил их мертвыми; когда же я вспоминал, что тела их давно превратились в прах и пыль, а голоса их замолкли навеки, то испытывал печаль от того, что потерял их слишком рано, что не родился раньше, что я их не знал. Никогда я так не ненавидел смерть, как тогда. И ни одно живое, теплое и говорящее существо я не любил так сильно, как любил те знаменитые трупы, похороненные под веками и мраморными плитами. А иногда мне казалось, что они подле меня, в моей комнате, что я встречал их на самых дорогих мне улицах, вдоль шумных рек или облупленных стен, и я пытался заговорить с ними и рассказать им о своей страсти одинокого возлюбленного. Но они смотрели на меня молча



и неподвижно и исчезали, когда я к ним приближался.

Те книги, из которых я узнал их мысли, их любовь и негодование, мне всегда будут памятны. Я помню их цвет, формат, форму букв, даже и пятна и складки на страницах. Это не сентиментальный пустячок, вроде любви. Дешевые, плохо изданные томы с опечатками; стереотипные, скверные издания по несколько сольдо за том; книжонки, купленные из вторых рук, все исчерканные чернилами и карандашом, измятые и истрепанные; толстые томы, переплетенные в кожу и сохранявшиеся мною, как святыни — вот настоящие реликвии, вот самые прекрасные воспоминания моей жизни.

Памятны мне также те места и мгновения, когда я пропитался ими, когда почувствовал их своими близкими, когда они показались мне в более ярком, в более остром свете. Данте связан в моей памяти с летней зарей, которую я встречал на холодной каменной лавочке, высоко в горах, под тихое журчание источника, низвергавшегося в мутный бассейн; Шекспира я впервые читал зимою по вечерам, в холодной, неуютной комнате при свете свечи; Бодлера я понял в самых пустынных осенних аллеях Кашин, когда Арно красило свое серебро к празднику заката; Шелли напоминает мне тропинку в весенней роще акаций и ясеней, где я громко распевал самые ужасные проклятия Прометея; Тэн вновь вводит меня в бесконечный библиотечный зал, под холодный свет пыльных окон, мимо которых каждый раз пролетает стая белых голубей; над Штирнеровским „Единственным“ я страдал на кирпичной скамье паперти,

мутной от мха и благоухавшей ладаном, на вершине холма у церкви, под свежей сенью развесистой липы; и я декламировал стихи Заратустры за каменной оградой, которую я сам сложил для защиты от ветра, у пастушеского шалаша, на уединенных, поросших травой вершинах Пратоманьо.

Но не они одни были товарищами моих бессонных ночей в комнате, моих прогулок в размышлении, великолепных мгновений отдыха среди цветов под открытым небом. Я не забываю никого из вас, истинные возлюбленные моих восемнадцати, двадцати и двадцати пяти лет; все вы по одному проходите мимо меня и напоминаете мне — кто дату, кто место, кто стих, кто мысль. Каждому из вас я должен уплатить свой долг; и я выплачиваю его теперь по частям, сиюсь сообщать другим хоть искру этого моего духа, который вы возбудили, вы воспитали во мне.

Особенно многим я обязан вам, поэты: вы подняли меня, как сатану, на вершины гор и шепнули мне на ухо: „Вот, все это богатство, вся свежесть, вся красота будут твои, если только ты их увидишь и поймешь“. Тебе, Данте, отец мой, я обязан желанием рая и яростным плебейским жестом великодушного негодования; тебе, Леонардо, брат мой, — сладостью страдания без исхода и безжалостным ясным видением смешной подлости людей; тебе Шелли, Cor Cordium, как бы утонувшему в моем мире, патетическим оживлением природы и пышными утонченностями золоченого мира, и жалостью к побежденным тиранам; тебе, братский Бодлэр, извращенной забываемой любовью к проклятиям, к безвыходным, лишенным неба пропастям жалкой телесной жизни, к исступлен-



ному преображению ежедневной низости; тебе, Гейне, пронизательным смехом грусти, желающей остаться незамеченной, и склонностью весело потрошить марионеток различных мифологий; тебе, Уот Уитмэн моей ранней юности, широким дыханием моря, толпы, человеческой жизни, трогательным чувством к каждому существу, к каждому народу; тебе, Кардуччи из Мареммы, львиными скачками, жаждой орлиных вихрей, непримиримых революций, призывных сигналов к бою и величия Италии. А Шекспир, а Гёте? Разве я могу сказать, чем я им обязан? Разве они были только поэты, сочинители драм, трагедий и мистерий? Разве они не ввели меня в несказанные миры, на беспредельные арены, в мир идей, претворившихся в плоть, в мир бесед героев, чудес и счастливых островов, и разве не от них я узнал, что жизнь не что иное, как сон, а сон — реальность, и что самые серьезные, самые страшные, самые яркие мысли находятся не в философских книгах? Разве я не беседовал неоднократно с бледным Гамлетом, не искал истинной жизни с доктором Фаустом? Разве и тот, и другой не были живой, близкой частью моего я?

Там они встречались, вероятно, с Дон Кихотом и идиотом, а иногда и с Жюльен Сорелем и Пер Гюнттом, частенько же с доктором Тейфельсдрек в обществе Дидимо Пьерико и Филиппо Оттоньери. Это они меня создали, они меня поддерживают, они диктуют мне. У Сервантеса я позаимствовал святое безумие идеала и презрение к мещанскому благоразумию всех Санчо Пансо; у Достоевского святое безумие любви к несчастным и ужасающее очарование внутренних трагедий; у Стендаля

стоицизм человека, ясно понимающего все мирское, и склонность к целомудрию тайны; у Ибсена уважение к самому себе, поиски и защиту самого себя; у Карлейля открытие духа под внешностью и символом и нахождение утверждения в отрицании; у двух итальянских братьев — меланхолическое созерцательное остроумие, с трудом удерживающееся от плача.

Но почему же прежде всего я не упоминаю о По, направившем меня в сторону усложнения ужасов? О Новалисе, покорившем меня мистицизмом силы? А философы? Платон: прекрасные юноши, тонкие старцы, мифы и софизмы, пиры и портики близ моря. Беркли: Илас и Филонэй, разрушающие общие идеи и материалистический мир в утреннем тумане английского парка. Шопенгауэр: открытие мысли и страдания, воли и небытия. Ницше: солнце и разрушение, благородные белые горы и радостный танец освобожденного гения. Штирнер: диалектическая анархия, жестокое одиночество, евангельствующий эгоизм, красноречивое и крайнее возмущение робкого. Но больше всего из тех, что мыслят, я любил разрушителей быта, свободных от предрассудков знатоков людей, разочарованных и спокойных героев: тех, что соскабливают фрески идеализма, чтобы показать дыры в штукатурке, и раскрывают серебряную завесу, чтобы некрасивый свинец был оценен по справедливости. Суровые мыслители; люди без идеала; интеллектуальные таможенные чиновники человечества. Особенно любил я французов: умные сомнения Монтэня; искрящиеся, вулканические извержения Дидро; прозрачный живой схематизм Тэна и даже шумный скептицизм Воль-



тера, нравственный политеизм Брустэра и натуралистический цинизм Реми де Гурмона.

Таков был мой настоящий мир, моя настоящая родина, общество моих братьев. В этом божественном городе моей души были фоном горы Леонардо, памятниками—герои Микель-Анджело, грустные даже в победе, картинами—свет и тени Рембрандта. А время от времени слышались торжественные звуки Баховских сонат, более страстные такты Бетховенских симфоний, героические мотивы Вагнеровских хоров. Лишь в этих мыслях, в этих образах, в этих звуках я чувствовал, что мир достоин меня.

### ЖИВАЯ МЕЛЮЗГА

Но сильнее и ярче, чем любовь к великим, были во мне презрение и враждебность к маленьким живым. Ко всем: к тем, кого я знал, и к тем, кого я никогда не видал; к тем, кто меня порицал, и к тем, кто рукоплескал мне; к тем, кто становился на моем пути, и к тем, кто меня избегал.

Никого из людей, если не считать трех или четырех товарищей по ненависти и приключениям—я не считал равным себе. Никто не казался мне достойным судить меня и даже стоять рядом со мной. Я серьезно верил, что я единственный обладаю умом без предрассудков и наглазников, без фальши, глупостей и чепухи; единственный, способный бороться с ложью и прогнать узурпаторов; уничтожить население целой Валгаллы старых богов и современных идиотов; снять с каждой

вещи, с каждой мысли, с каждого человека своднический вуаль привычки, удобства и банальности, освободить человечество от всякого отвратительного умственного рабства, стискивающего и связывающего его. Я хотел освободить тех самых, которых презирал, а презирал я их именно потому, что они были несвободны, и именно потому, что они были достойны презрения, я и хотел их освободить. Я хотел поднять их до себя, а не унизиться до них. Чтобы сделать их людьми, я давал им понять, что они скоты; чтобы доказать, что я люблю их, я бил их. Если я и унижался, то только для того, чтобы хлестать их, чтобы позабавиться. Я хотел сделать их достойными себя, моего идеального типа человека, совершенно свободного, совершенно умственного, совершенно лишенного всякой веры. Как учитель и воспитатель, я не старался увлечь или очаровать их музыкой или нежностями, но хотел пробудить их, встряхнуть, возбудить. Я мог бы в то время взять девизом стих Петrarки:

*Io venni sol per isvegliar altrui* <sup>1)</sup>.

Но я хотел будить их не добром, не ласкою, а встряской, побоями; я хотел схватить их за горло и швырнуть об стену так, чтобы ярость и стыд этого резкого пробуждения вызвали взрыв энергии, мужественное движение негодования. Я держал себя с людьми, как укротители зверей ведут себя с сонными, отупевшими зверями в клетке. Я колот их самыми острыми сарказмами, какие умел

<sup>1)</sup> Я пришел лишь для того, чтоб пробудить других.



придумать; жег их неприятными, жесткими словами и безжалостно искренними обвинениями; бил их, показывая, как трусливы они были в жизни, как низки в своих желаниях, как примитивны в идеях, невежественны во всем и абсолютно неспособны понять и мыслить до конца.

Никто не избегал моего нападения. Если спора не было, я нарочно вызывал его, чтобы импровизовать дилеммы и беспощадно наносить удары; если спор уже был направлен в определенную сторону, я сводил его с пути так, что в конечном итоге один я продолжал сыпать силлогизмами и ругательствами на всех остальных; если появлялся человек робкий, я заставлял его говорить, чтобы прижать его к стене и выставить в смешном виде; если мне попадался смелый болтун, я испытывал неописуемое удовольствие в том, чтобы сбавить ему тона и заставить его замолчать.

Если комунибудь нужно было сказать в лицо нехорошую правду, я первый и единственный говорил ему ее без всяких обиняков и подходов; если я замечал недостаток, упущение, слабость, я без всяких околичностей делал их пунктом обвинения и основой нападения: когда следовало отвязаться от какого-нибудь надоедливого, скучного педанта или идиота, друзья прибегали к моей помощи, и редко бывало, чтобы он не уходил навсегда смущенный и с обломанными рогами. Достаточно было мне узнать про самую скрытую червоточину какого-нибудь человека, чтобы я навел речь именно на нее и обвинил его без всяких церемоний *сogam rorulo*; и стоило мне разгадать самое уязвимое и болезненное место чьей-нибудь совести, как я, не дожидаясь дальнейшего, гово-

рил именно об этом, затрагивал именно этот пункт; придравшись к самой невинной, сказанной без всякого умысла фразе, я способен был сделать из нее самые неожиданные заключения, найти в ней скрытый, подразумеваемый смысл и до тех пор напирал на все это, пока несчастный не начинал просить пощады или не убегал. Небольшого разговора с человеком мне достаточно было, чтобы воссоздать себе его психику, а установив ее, я выставлял ее перед ним, дабы он увидел себя в ней, как в зеркале, дабы он покраснел и устыдился.

В этой ежедневной войне против всех я пользовался всем: учеными цитатами, новыми идеями, именем неизвестного авторитета, аргументом *ad hominem*, диалектическим анализом, мельчайшим противоречием противника, шуткой, остротой, насмешкой, смехом, оскорблением. Только бы победить. Лишь бы дать почувствовать этим глупым болтунам превосходство моего ума и моей учености, — каждое оружие, каждый жест были хороши. И если жертвы не приходили ко мне, я сам шел к ним и искал все новых людей, чтобы иметь более широкое поле подлых душонок и противников.

Таким путем я в короткое время создал себе славу ужасного забияки, и это мне нравилось; на меня смотрели, как на грубияна, на сумасшедшего, но и как на апостола искренности, как на негодяя, которого следует избегать, и как на героя откровенности. Многие, наиболее трусливые, избегали меня, как зачумленного; другие, более достойные, искали моего общества, противились мне и заставляли меня подружиться с ними. Ибо эта моя манера была не только необходимым выходом для



моих разбойничьих и воинственных инстинктов, не только естественным результатом моей беспредельной гордости, но и методом, чтобы образумить людей, средством, чтобы избрать среди них самых лучших, самых сильных. Кому не нравилось то, что я говорил, тот уходил, но я только этого и хотел. Другие меня ненавидели, но и этого я хотел, ибо я всегда испытывал большую потребность во врагах, чем в друзьях. Некоторые стали меня больше уважать; страстность моя и привлекала их ко мне; они терпеливо переносили мои головомойки и оскорбления, так как чувствовали, что очень часто я говорю правду и что правда, сказанная так открыто, гораздо больше приносит пользы другим, чем мне. Некоторых друзей я приобрел именно благодаря побоям и ругательствам. Эти немногие, самые умные, угадывали, сколько любви было под моим презрением, и знали, что под щитом Горгоны скрывался бедный сентиментальный поэт, гораздо более способный на дружбу, чем церемонные, обходительные, воспитанные молодые люди.

Тем более, что я не всегда вел себя по отношению к другим, как разбойник или оса. Мне очень нравилось, например, смущать людей неожиданными серьезными, основными вопросами, одними из тех вопросов, которые не принято задавать, которые, пожалуй, даже покажутся нелепыми и бесполезными, из тех, что никто не смеет задать даже самому себе, но что обрисовывают всё мирозерцание, все ценности, всю жизнь человека. Я хотел заставить других мыслить, думать, осмотреть самих себя, собственную душу, будущность, идеалы; я хотел каждого вогнать внутрь себя, туда,

куда спускаются неохотно; поставить каждого лицом к лицу с самим собою, чтобы он осмотрелся, чтобы переменял дорогу, чтобы ускорил шаги, чтобы не забыл, — если еще было время. Многие были мне обязаны пробуждением сознания или душевным кризисом, которые потом сделали из них людей и вывели их на намеченную раньше дорогу. Необходимо, чтобы кто-нибудь имел смелость бросить в толпу этих вечно лениво спящих существ, называемых людьми, оклик часового „кто идет?“, имел смелость протрубить зорю раньше, чем наступает утро, дать удар грязной тряпкой по румянам, выступающим на лицах, чтобы каждый с испугом узрел, как он стар и некрасив. У кого нет смелости смотреться в зеркало, пусть снова заграмируется и играет роль джентльмена, даже если он жулик, или роль гения, хотя бы он был глупцом. Мне все равно: долг свой я исполнил!

Можете меня ненавидеть и проклинать, можете сторониться, когда я прохожу. Людей нельзя создать с помощью клеенки и гомеопатии. Нужно радикальное, свирепое лечение. Нужно разрезать там, где следует резать; прижечь там, где есть нагноение; нужно вынести из мягкого гнезда привычки того, кто видел свежий вихрь ветра и здоровую морозность снега только через стекла своего дома. И если от воздуха у вас захватывает дыхание и вы задыхаетесь, то тем хуже для вас и тем лучше для гробовщиков.

Я не раскаиваюсь в том, что был слишком откровенен и задорен. Что поделаешь: я не умею приносить пользу людям, не мучая их, не умею любить, не презирая!



## Я И ЛЮБОВЬ

Мне уже за двадцать лет; молодость в полном расцвете и льет через край; настоящая жизнь в конкретном соприкосновении с человечеством уже началась, не удовлетворяет своих запросов и даже, видимо, стремится вылиться на других, на всех, — а о любви нет речи. Как же так?

А ведь это возраст классической весны романтических идиллий, от которых расцветают и раскрываются даже самые упрямые сердца, языческого лета всех чувств, геркулесовского июля неудержимой похоти, когда каждый взгляд выражает жажду наслаждения, когда все руки тянутся ласкать чье-нибудь прекрасное тело, а поцелуи горячи, как в жару, и губы не могут, не умеют, не хотят разомкнуться. Это время любви в короткий год жизни. Время, когда женщина с длинными косами и короткими юбками кузины или рисовой пудрой — увы! тридцатилетнего лица — вступает в жизнь мужчины и насаждает ему в тело или в душу первые и самые памятные воспоминания; с этих пор мужчина уже больше не одинок, уже больше не принадлежит себе; женщина, все равно, девственница она или проститутка, овладевает им и преобразует его.

Итак, наступила пора робких привязанностей, сентиментальных печалей и яростных страстей. Почему же здесь ничего не говорится о любви?

Нет, сударыня (ибо, я полагаю, только дамам может прийти в голову подобный вопрос), — нет, сударыня!

Заранее оставьте всякие надежды. О любви здесь не говорится и не будет говориться до самого конца. Если вы начали читать эту жизнь мужчины с нескромным желанием встретить здесь женщину, то бросьте книгу и не думайте о ней больше. О любви я писать не буду и не выведу ни единой женщины.

Если это роман, то пусть это будет роман без любви.

Если это история, то пусть это будет история без женщины. Пусть она будет скучная, недоконченная, неправдоподобная; все, что хотите, моя сентиментальная синьора, но так оно будет, так оно должно быть, ибо этого хочу я, я — хозяин моей жизни, моей души, моей книги.

Не думайте, дорогая синьора, что любовь не играла роли в моей жизни; совсем наоборот. И когда я говорю „любовь“, я подразумеваю все значения этого слова: любовь платоническую и плотскую; духовную и телесную; сентиментальную и чувственную.

В моей жизни были женщины; не скажу, впрочем, чтобы их было много, ибо я не был и не мог быть Дон-Жуаном, но они были; это были настоящие женщины, из плоти и крови, совсем как те, которыми восхищаются в романах и которых желают в жизни.

Бывали восторженные и слишком пылкие барышни; бывали просто здоровые девушки, без всякого литературного пятна; бывали, увы! интеллигентные, образованные дамы, весьма страстные и без особых предрассудков; бывали, и я этого не стыжусь, циничные, грустные проститутки, которые делали свое дело честнее многих других...



И некоторые из этих женщин были прекрасны, другие только изящны, только симпатичны или только интересны. И всех их, одну за другой, я любил душою и телом, или же только душою и только телом, и был с ними наивен и смел, нежен и ревнив, великодушен и подл, как все мужчины со всеми женщинами. И я делал признания дрожащим голосом, сжимая маленькие руки, пытаюсь прежде времени сорвать поцелуй с губ, от которых ждал только „да“; и я ходил под ее окнами в обезумевшие от солнца утра и в туманные сумерки, ожидая сигнала руки, движения занавески, появления света или платочка; и я написал сотни лирических писем с отчаянным призывом, заканчивавшимся вечным пустым словом всех влюбленных: всегда; я прижимал к своей груди; я целовал много ртов; своими ласками я закрывал много глаз. И каждая уединенная улица напоминает мне имя, цветок, слово, — имя, которого я больше не произношу; цветок, который засох и лежит между страницами какой-нибудь книги; слово, которое я хотел бы забыть...

Да, дорогая моя синьора. И я был влюблен, и некоторые женщины, полагаю, были влюблены в меня. И я, как другие мужчины, доставлял им наслаждения и страдания, и я знал жар желаний, тоску неизвестности, мучительные сомнения, печаль ожидания, муки ревности и божественную бессознательность страстного объятия, когда кажется, что две души хотят вырваться из соединившихся тел, чтобы слиться воедино.

Если я не желал говорить о любви, то не потому, что не испытывал ее во всех степенях и стилиях. И у меня, любезная синьора, есть душа и

полное крови сердце, и я не всегда был нечувствительным, и я не рожден импотентом и никогда не оскоплялся.

Еще ребенком, я познал муки целомудренной любви; выросши, я, как и все, потерял свою девственность; я прошел через незаконную связь, через запрещенную страсть, через формальное обручение и кончил (и я!) в лоне законных радостей священного брака. И вы с полным правом могли бы сказать мне: „Чего еще вам не хватает?“..

Если бы вы только знали, синьора, чего мне не хватает! Только одного: идеальной женщины; женщины, действительно проникающей в душу, овладевающей ею, возвышающей ее.

Мне не хватает, одним словом, женщины, которая могла бы занять место духовной истории духа, в умственном романе ума. „Вечно женственное возносит нас в высь“. Пусть так: у меня нет желания ссориться с Вольфгангом Гёте. Но должен сознаться, что меня лично вечно женское не подняло и не опустило ни вверх, ни вниз — никогда...

Женщина не была для меня ни Беатриче, которая берет вас за руку, пробуждает от материальных снов и вводит на чудесные небесные высоты; ни Цирцеей, которая превращает людей, рождаемых для знания и добродетели, в свиней, хрюкающих в роскошных садах, богатых тенью и желудями.

Женщины не развратили, но и не очистили меня. Они стояли в стороне; желанные или надоедливые гости в минуты отдыха; попытки утешения, когда становилось тошно; желанные предметы наслаждения или страдания; дорогие, нежные под-



руги моей жалкой жизни; интермеццо сладострастия или ярости в моей тяжелой жизни недовольного работника; преувеличенные или неосновательные поклонницы моего таланта; но отнюдь, если я должен быть грубо откровенен, не руководители, не вдохновительницы, не дарящие.

У меня брали, ко мне пред'являли требования, — и я дал им немного от моей жизни, от моей молодости, от моего времени, моих иллюзий, моих мыслей; но от них я никогда ничего не получал. Внутренняя жизнь моей души не обогатилась и не изменилась благодаря их присутствию.

Я не жалею: совсем нет. Я дал, потому что мог дать, и у меня еще много осталось, большая часть — для себя. У них же я ничего не спросил для своего духа, — да они ничего и не могли мне дать. Я принял ее такою, как есть, я взял ее такою, какою она создана, я дал себя обкрадывать и аккуратно платил свою дань.

В расчете радостей и страданий мы квиты если я наслаждался, то и другим доставлял наслаждения, и если я заставил страдать, то и сам страдал. За остальное я ничего не требую, и то, что я дал — хорошо дано. Но поскольку я знаю, вижу и помню, мне никогда ничего не давали; решительно ничего, ни одной идеи, ни капли силы, никакого толчка к божественным высотам, к которым всегда стремился мой беспокойный ум.

Может быть, этого и нельзя требовать от женщин...

Может быть, и сам я склоняюсь к этой мысли. Но тогда я имею полное право не говорить о них в этой книге, в которой рассказывается история мужской души, а не всего мужчины.

Или вина была моя, и я не сумел найти или понять Беатриче, которая могла бы вознести меня на небеса? Это возможно, очень возможно, но если это так, то я раскаиваюсь в этом более, чем во всех своих грехах, ибо это должно было, действительно, быть необыкновенным чудом.

Но потому ли, что я не встретил ее или не понял ее, но она не спустилась ко мне, — и я не могу говорить о ней.

Таковы, дорогая и нетерпеливая синьора, в немногих словах причины моего молчания по этому так сильно интересующему вас вопросу. Я понимаю, что, к сожалению, мотивы молчания оскорбительнее самого молчания, но что поделаешь!

Если бы я умел притворяться, симулировать и лгать, как большинство ваших сестер — не как вы, разумеется, — то я прошел бы мимо или удовлетворил бы вас, украсив это голое описание внутренних переживаний любовными воспоминаниями. Но мне не стоит и пробовать: все равно ничего не выйдет. И я не умею писать того, чего не чувствую, и уделять место тому, чего не было.

И все же я не желал бы окончательно испортить отношения с вами — и со всеми женщинами, которые случайно услышали бы меня. И я хочу дать вам пример — маленький незначительный пример того, чем могли бы быть мои сентиментальные воспоминания. Дело идет об очень давно прошедшем: о первой испытанной мною любви.

Далекий августовский вечер. После одного из обычных загородных обедов со всеми чадами и домочадцами мы спускались все вместе с холма. Мне удалось отстать с нею, с самой маленькой,



самой незаметной, самой печальной девочкой, больше всех похожей на меня.

Белая луна, освещавшая белую уличную пыль, белые строения вдоль улицы, белевшие оливковые деревья за свежо окрашенными белой известью заборами придавали вечеру несколько театральное освещение.

Я старался итти в тени, и перед тем, как мы входили в полосу света, рука моя, долго колебавшаяся; дотрагивалась до ее руки и тотчас же отпускала ее, с таким чувством, будто я совершил что-то весьма неприличное.

Сердце мое билось слишком сильно для того возраста, а упорное патетическое трещание сверчков, рассеянных по полям, почти волновало меня. И я представлял себе черные головки, с едва выходящими из земли отверстиями усиками уже посвежевшей от вечерней прохлады травы, и мне казалось, что их мерные звуки выражали напрасное желание любви и счастья.

И я также, уже тогда, испытывал потребность хоть в небольшой доле счастья. И в тот вечер я собрался наконец с духом и рассказал ей то, о чем много месяцев думал: тайна моих первых страстных ночей вылупливалась мало-по-малу в коротких прерывистых фразах, под незабываемой белизной той августовской луны. Она слушала меня с лицом спокойным и бледным под большими полями соломенной шляпы. Она слушала меня, как во сне, и все время говорила да — не прибавляя ни единого слова.

Я же взволнованно раскрашивал подробности моей филистерской химеры: „Как только мы вырастем, мы обвенчаемся. Мы поселимся в отдель-

ном маленьком домике, за городом, но недалеко от него. У нас будет свой огород, большой сад, много цветов, а посреди сада бассейн с золотыми рыбками и желтыми розочками, пробивающимися сквозь решетку ограды. Мы устроим себе хорошенькую гостиную, со стенными часами, с красивым блестящим медным маятником, с круглым столом, накрытым красной скатертью в цветах, и портретами родителей в черных с золотом рамках. Мы будем держать животных: красивую белую кошку с голубым ошейником; у нее будут голуби; три — четыре курицы для яиц; канарейка и чижик в клетке, которые будут петь; большая сторожевая собака и, может быть, маленькая обезьянка, как та, что сидит у птичника на пороге его лавки... И мы весь день будем проводить вместе в развлечениях и любви...”

Она продолжала говорить да, всегда да. Для нее все было естественно, просто, легко. То, что мы оба — именно мы оба — должны были провести вместе всю жизнь, несколько ее не удивляло.

Я смотрел на нашу будущую жизнь, как на трудную победу, на далекий идеал, на плод продолжительных усилий, на серьезное дело. Она же нет.

Казалось, дело шло об игре, о забаве — о новой игре, которую я придумал: игра в брак, игра в жизнь. Правда, и она была слегка озабочена, но ее бледное лицо мало избалованной девочки было совершенно спокойно. Она меня не понимала. Мы не понимали друг друга. Она говорила да, потому что не понимала (подумать только, какой жалкой, мальчишеской и мешанской была моя



мечта!). И я, сам не знаю почему, стал еще более грустным, чем если бы она ответила отказом. И я больше ничего не сказал ей.

Это была моя первая встреча с душой женщины. Другие были совсем в другом роде, но все же...

А теперь я больше не буду говорить о любви в этом рассказе—ни единого разу. Вы можете, дорогая синьора, закрыть книгу и бросить ее. И глубоко, искренне презирать меня...

## SOLENNE

Я спрашиваю: кто тот, кто прошел дальше всех?  
Ибо я хочу пройти еще дальше!

*Уот Уитмэн*



### МИССИЯ

Когда капризной и смелой деятельностью трех или четырех лет я добился того, что для всякого другого (для многих) казалось бы достижением, победой,—у меня было имя, меня читали, обсуждали, боялись,—я почувствовал еще глубже, чем прежде, позорную пустоту внутри себя.

Как? И это все? И это конечная цель всех моих трудов, моих бессонных ночей? Это—заключение всех моих стремлений к менее земному свету, это—единственный и решительный результат всей моей молодости, всего пыла и неистовства моей стиснутой, сосредоточенной в себе в течение долгих лет молодости, внезапно вспыхнувшей, как веселый костер в горах? Только всего? И ничего больше? Видеть свое имя в печати; слышать, как повторяют мои слова; видеть собственное лицо воспроизведенным; самые дорогие свои идеи выставленными на площади; самые скрытые признания и ревнивые волнения брошенными в пищу „первым встречным“. А дальше? Быть окруженным несколькими обезьянами, которые подражают твоим жестам, и попугаями, которые повто-



ряют твои фразы; находить книги с твоим именем на обложке, статьи с твоею подписью; слушать, как говорящий о тебе не понимает тебя, презирает тебя или завидует тебе и даже не умеет раздавить тебя. Сделаться писателем; известным писателем, писателем, которого цитируют, которого добиваются редакторы журналов и издатели; которого преследуют присяжные критики и рецензенты; которого переводят на иностранные языки; быть кандидатом в честные сорокалетние знаменитости...

А дальше? Я начинал обладать всем этим и чувствовал, что это меня не удовлетворяет, что это никогда меня не удовлетворит. Какое значение имело для меня быть или сделаться „блестящим“ философом, „хорошо известным в литературных кругах“ писателем, более или менее удачным фабрикантом или торговцем слов и мыслей? Куда я иду? Сказать нетрудно. Как ни гляди в высь, как ни тянись вверх со всем безумием, свойственным посредственности, впереди предстоит одно: издаваться у Тревесов, преподавать в университете, сделаться членом академии, получить (дряхлым, впавшим в детство стариком) нобелевскую премию...

Да ни за что! Я чувствовал, что рожден для других целей; что стремлюсь к другому. Это было не честолюбие и не тщеславие, а гордость, хорошая гордость, дьявольская, божественная гордость. Я хотел быть поистине великим, эпическим, несоизмеримо великим; я хотел совершить нечто гигантское, неслыханное, от чего преобразятся лик земли и сердца людей.

Если же не это, то пусть лучше ничего. Лучше гнить в идиотской праздности мелкого чиновника, тупеть в ручном труде или, лучше всего, утопить

неудавшиеся мечтания и тяжесть собственного тела в желтых волнах Арно.

Старая и вечная потребность быть главою, руководителем, центром, особенно чувствительная в ту пору смелых под'емов и желаний...

Сознаюсь: причина для меня имела мало значения, лишь бы — хоть на один миг! — все взгляды были устремлены на меня, а все уста повторяли мое имя!

Основатель школы, секты, религиозный пророк, изобретатель теорий или чудесных механизмов, глава новой партии, спаситель душ, автор книги, выдержавшей сотню изданий, церемониймейстер на банкете, все равно — лишь бы хоть в чем-нибудь быть первым, самым знаменитым, самым великим.

Быть одним из тех, что дают имя идее, толпе людей, что открывают новые, странные, неожиданные истины; из тех, которых все должны знать и судить; кому обязательно посвящают главу или параграф в истории и кто имеет собственную область, собственное поле действия, собственное признание зная.

Мне неважно было почему, неважно было как, но я не хотел оставаться в стороне, во втором или третьем ряду, между просто интересными людьми, просто любопытными, образованными или умными. Пусть глупость, пусть безумие, — лишь бы только быть изобретателем этой глупости, этого безумия.

На первых порах я обратился к деятельности, которая непосвященным кажется самой деятельной: к политике. Социализм был в то время у меня на родине самым сильным движением, и я — чело-



век отрицания и противного течения—вооружился против социализма.

И я стал социалистом, социалистом навыворот: я признал классовую борьбу. Но пусть это будет настоящая борьба, война в настоящем смысле слова, не просто нападение осмелевшего от голода народа на дрожащего, уступчивого хозяина. Борьба классов: то-есть самозащита класса, действовавшего и победившего, против класса, желающего заставить его отречься прежде времени. Буржуазная защита, безжалостная, железная политика и все связанные с ними идеи империализма (то-есть национализм, армия и флот!). Я был редактором первой итальянской националистической газеты; я произнес речь, в которой изложил программу новой итальянской партии. Я каждую неделю дрался с народниками; я окупился в полемике; я задел демагогическую знаменитость; я желал придать достоинства и смелости тем, кто стремился только уступать. Мы хотели, чтобы Италия в настоящем сделалась великой и в области завоеваний. Мы мечтали об Африке, требовали броненосцев и старались раздуть тот слабый дух империализма, который мог еще существовать в Италии после Абиссинского поражения.

Но от этого колониального и милитаристического империализма я лично вскоре перешел к национализму духовному, интеллектуальному. Италия казалась мне страной без жизни, без общего идеала, без единой цели. Все здесь бледное, сонное. Каждый за себя и разве какая-нибудь каморра за всех. Я задал себе вопрос, какова была в то время роль, миссия Италии в мире. И не смог ответить. Тогда я с Мациниевской пре-

двременною начал свою кампанию за насильственное пробуждение. Слабые звуки (статьи, брошюры, письма) в шумном, рассеянном мире. Я хотел, чтобы моя родина создала что-нибудь свое, играла свою роль среди других народов. Я хотел, чтобы итальянцы отбросили риторiku прошлых возрождений, поставили себе великую общую цель, истинно национальное задание. После 1860 г. не было ни единого, итальянского чувства, ни единой мысли. Время было снова пуститься в путь. Нация, не чувствующая в себе мессианской страсти, осуждена на гибель.

Но какова могла быть эта национальная цель? Я сам хорошенько не знал. Я звал и кричал, а потом задавал вопросы тем самым, кто прибегал на мой зов. Я говорил: подготовка духовного господства. В Италии дух всегда был в привилегированном положении; из этой страны должно выйти окончательное царство духа.

Не могло ли это быть национальной скрепой? Я вскоре убедился, что нет. Эта проблема абсолютного господства воли выходила за пределы самого фантастического патриотизма. Следовало обратиться ко всем людям и работать за всех. Не материальные интересы полоски земли, а духовные интересы всего человечества.

Я верил всей силою души, что имею в мире миссию, свою миссию, великую миссию. Мне каждый день казалось, что я призван сделать то, чего не делают другие, что я призван совершенно преобразовать людей и вещи, направить в другую сторону мирное течение истории.

Кем я был призван? Этого я не знал и не знаю. Я не верил в бога, и все же в некоторые



мгновения я чувствовал себя подобным Христу, который какой бы то ни было ценой должен вновь взять на себя спасение человечества; я не верил в провидение и все же видел себя в будущем мессией и спасителем. Это были внутренние подземные голоса, которые, казалось мне, подымались из другого полушария, с другой земли. Я воображал, что эта наша жизнь и есть иная жизнь, что эта земля уже превратилась в небо, и я думал, что те, кто стонет внизу (еще не умершие там внизу, но еще не родившиеся здесь наверху), призывают меня, чтобы я поднял их до себя, дал им долю в наших самых божественных радостях, наших самых неоспоримых истинах. Иногда мое душевное состояние делало меня похожим на бога, у ног которого молится страждущее человечество о счастье и свободе, о смерти и спасении. И я волновался, как никогда не волновался при чтении Марка, Луки, Матфея и Иоанна, и однажды расплакался над простым голым описанием жизни Маццини.

Какая-то таинственная сила заставляла меня что-то делать для людей — для всех. Мне казалось, что я дал обет и что теперь пришел час, когда я должен сдержать его.

Я сделал себя: я должен был сделать других. Я разрушал: я должен был воссоздать. Я презирал действительность: я должен был преобразить и очистить ее. Я ненавидел людей, я должен был полюбить их, пожертвовать собою для них, сделать их подобными богам.

Иначе, к чему было приходить на землю? К чему было отказываться от прошлого? Все переделать, начать все сначала, все возвысить колоссальным усилием любви и воли так, чтобы сделать

возможным существование в действительности даже для самых чутких, для великих, — или же отказаться от всего; от инстинктивных радостей растительной жизни до счастья быть полужнаменитостью в Европе и Америке. И по отношению к действию — ко мне возвращалась опасная детская дилемма: все или ничего.

Одного знания мне было мало: я хотел действовать. Меня уже не удовлетворяло писание; я хотел выгравировать свои мысли в вещах и душах. Я хотел выйти из этого бесконечного созерцания; из этого перезванивания словами и мертвыми понятиями; из этого фейерверка эфемерных идеологий, парадоксальных ракет и фантастических вертящихся колес. Мне надоело смотреть, судить, комментировать то, что делают другие; надоело критиковать и разрушать. Чисто умственный, словесный, бумажный мир, в котором я бился, оказался безводным и безнадежным. Нужно было выйти из него для более обширного, более плодотворного, более конкретного дела.

Но не для того, чтобы отдаться первобытной животной жизни, как у всех, чтобы уйти в обычные дела, обычные занятия, в действие, являющееся простым продолжением, в борьбу, являющуюся только борьбой за хлеб, за постель, за деньги, за женщину и за власть. Я хотел действовать, но не так, как действуют люди, не так, как другие, как все. Нужно было действовать совершенно иначе, а никто об этом и не думал. Жить надо, но не старой, всегда одинаковой жизнью; действовать надо, но не для прежних целей. Мое пребывание на земле должно оставить по себе более глубокий след, чем революция или ката-



клизм. Одним словом, я хотел, чтобы с меня, с моей деятельности началась в истории людей новая эпоха. Начать новую эру, совершенно новый период, третье царство. В первобытные времена человек был простым животным. Потом он возвысился и стал человеком: он научился делать себе орудия, подчинил себе силу животных, ветра и огня; мысль его мало-помалу отделилась от цепей чистого самосохранения; он просветился и возвысился искусством. Но жизнь его все еще была загрязнена животными пережитками; под одеждой джентльмена и механическими усовершенствованиями все еще оставалось варварство; общие, конечные цели жизни были те же, что у наших разбойничьих предков; хорошо есть, обладать самыми красивыми женщинами, повелевать над более слабыми, отнять у других возможно больше. Высшие и поистине человеческие радости мысли для мысли, чистой бескорыстной мысли, радости творчества и созерцания искусства были уделом немногих и даже в них сводились к редким мгновениям. Человечество находилось в среднем состоянии, между зверем и героем, между Калибаном и Ариелем, между животным и божественным. Следовало вырвать его из этой двусмысленности. Убить, отрезать, вырвать все, что в человеке еще было подчеловеческого, чтобы сделать его сверхчеловеческим — а не только человеческим. Приблизить его к богу, сделать из него настоящее божество, бесконечно живущее в духе и для духа.

Что в человеке выше всего, благороднее всего, чище всего? Его душа. Если хочешь влиять на человека в возвышающем смысле, нужно влиять

на душу. Только в духовном направлении можно надеяться на радикальную перемену, на полный переворот в ценностях. Только самая возвышенная часть человека может привести его на высоты. В настоящей жизни духа уже скрывается семя, начало будущей божественной жизни человека. Созерцание философа, экстаз мистика, творение поэта, все, что удаляет от унижительных потребностей тела, от отвратительного водоворота земных интересов, — в духе. Дух же гибок, ковок, способен к совершенствованию. Он хранит в себе бесконечные обещания и неожиданности, в нем начатки других способностей и первое движение к чудесному развитию. Если выйдет из жизни человека что-нибудь великое, новое, оно выйдет из духа; если мы хотим сделать человека лучше, нужно усовершенствовать его дух. В нем все ценности, все мотивы внешней жизни, причины всех поступков. Если внезапно изменится он, то изменится и вся жизнь. Если бы он поставил себе новые цели, если бы уничтожил в себе некоторые склонности и приобрел другие, жизнь человечества преобразилась и обновилась бы. Все вопросы — национальный, общественный, нравственный — в сущности только вопросы души, вопросы духа. Преображая душу, мы преобразуем внешность; обновляя душу, мы обновляем мир.

А мир должен быть обновлен. Жизнь людей, медленная, тяжелая, сонная, мешанская, материальная, адская — становилась мне все более отвратительной. Я хотел, чтобы и другие почувствовали то же отвращение и нашли в себе силы выйти из этого положения, отказаться от жизни тела, от традиционной, варварской, дикой жизни, плохо



замаскированной (и от этого еще более ужасной) железом, углем и электричеством.

Возрождение было совершенно необходимо. Новый том всемирной истории должен был, наконец, открыться. Вначале человек весь состоял из плоти, потом из плоти и духа вместе, теперь он должен весь состоять из духа, из одного духа. После эпохи зверской и человеческой — эпоха героическая, ангельская, божественная. После эпохи силы — эпоха ума, подчиненного силе, и наконец эпоха освобожденного ума, господствующей воли, довлеющей себе мысли.

Вести людей к этому царству, возвестить эту новую эру, осуществить эту эпоху — вот долг, который я добровольно взял на себя. У меня была двойная миссия: отвратить и удалить людей от настоящей жизни и приготовить и сделать видимой высшую нечеловеческую жизнь, которую я предвидел и предчувствовал отчаянным напряжением величайших желаний. Но каким образом? И достоин ли я такого дела? И удастся ли оно? Достаточно ли сильна моя собственная душа, чтобы иметь право будить чужие души и принуждать других к существованию, менее погруженному в грубое и злое?

И если даже душа моя и чиста, добродетельна и сильна, то достаточно ли велик и отважен мой ум, чтобы искусно внушить другим необходимое желание уйти из бессознательной обыденности, чтобы до конца довести полет сотни народов в сферу божественного?

Чтобы положить начало своей миссии, я должен был быть уверенным в себе самом, очиститься и возвелмчиться, достигнуть нравственного совер-

шенства и умственного возвышения, преобразиться в святого и гения!

## СОВЕРШЕНСТВО

Как? Неужели среди вас не найдется никого, у кого хватило бы духу прийти в мой дом, стать лицом к лицу со мной и откровенно говорить со мной, безжалостно, без прикрас сказать мне, что я такое? Никто не хочет быть мне другом, никто не хочет прямо сказать мне, что я сделал дурного, чего я не сделал, хотя и должен был сделать, в чем мои недостатки, мои пороки, мои преступления? Неужели вы все лицемеры и трусы, как почтенные люди пятидесяти лет? Вы боитесь, что я говорю не в серьез? Что я обижусь от того, что вы мне скажете, и что, вместо того, чтобы обнять и поцеловать вас, я разобью вам голову или выброшу вас за дверь?

Да идите же, чорт возьми! Неужели вы никогда не видели лица откровенного человека, говорящего правду? Я зову и призываю вас всей душою. Всей своей несчастной душой. Должен же я знать, что я сделал дурного, чтобы раскаяться в своей вине и искупить ее; должен же я, во всяком случае, знать свои недостатки, чтобы сбрызнуть их, сжечь их, отделаться от них раз навсегда. Разве вы все еще не поняли, что меня волнует, что грызет меня ночью и днем?

Я хочу создать себе великую душу, хочу сделаться великим человеком, чистым, благородным, совершенным человеком. Я знаю, что буду жить только один этот раз, и хочу жить хорошо.



Жизнь, какую ведете все вы, мне отвратительна. Я буду великим или убью себя. Для такого, как я, нет иного выбора. Я должен быть выше вас, чтобы поднять вас еще выше. Но, чтобы сделаться великим, надо переработать, замучить, очистить, сделать гигантской эту единственную душу, которая дана нам, не знаю кем, на эти короткие годы пребывания или изгнания на земле. Чтобы создать себе душу великую, нужно знать все ее слабости; чтобы сделать ее чистой, нужно видеть всю ее грязь; чтобы сделать ее смелой и сильной — все ее страхи и маленькие подлости и недостатки.

Неужели вы думаете, что я мало изучал самого себя? Неужели воображаете, что я не следил за самыми скрытыми движениями, проблесками, увертками и колебаниями своей души?

И все же можете удивляться сколько хотите и назвать меня даже лжецом, — я ничего не нашел, ничего, понимаете ли, такого, что бы позорило меня или выставляло меня в дурном свете. За столько лет я не нашел ни одного настоящего недостатка, ни одного явного порока, ни разу не остановился на пороге совершения какого-нибудь поступка, сказав себе: „Это мерзость“. Ни разу мне не случилось почувствовать внутри себя угрызения совести за что-нибудь, чего я не сделал или сделал противного божеским или человеческим законам.

Скажите же мне хоть раз правду; во имя ваших матерей, скажите, допустимо ли, чтобы на земле существовал человек в подобном состоянии? Неужели я безгрешный, святой, единственный добродетельный человек, душа без пятнышка,

совершенство? Не подумайте этого даже на один миг: это невозможно, это самая невозможная вещь из всех невозможных. И я несомненно должен быть злым, нечистоплотным, подлым, лживым, слабым, неискренним и бессердечным! И я, конечно, грешу по семьдесят раз на дню, и у меня душа черная и вонючая, как выгребная яма. Если бы это было не так, я не был бы человеком. Иначе почему во мне непрерывно кипит это огромное желание быть великим, иметь великую, прекрасную душу?

Нет, друзья, напрасно вы мне шепчете на ухо какие-то словечки. Я вам не верю и никогда не поверю. Может быть, я и чист, и совершенен для вас, с вашей темной нравственностью изменников и преступников, позорно утомленных и замаскированных свиней. Но себе, но себе я не кажусь великим и чистым; но для тебя, неопикуемый идеал моей жизни, я не таков, каким хотел бы быть и каким должен быть, чтобы не краснеть приближаться к смерти.

Никто себя познать не может, никто не может смотреть на себя строго и сказать откровенно все, что он чувствует, думает и делает. Хитрое самолюбие, коварное тщеславие, расчетливая корысть, робкий стыд, наглая гордость всегда готовы скрыть, прикрыть, закутать, извинить, оправдать. Поэтому я, вероятно, и не замечаю того гноя, который я в себе ношу, и думаю, что я белая ворона не-лепного совершенства.

Теперь вы понимаете, почему вы мне нужны и почему я не могу обойтись без вашей строгости. Другим виднее зло в человеке: у естественного человеческого недоброжелательства глаза острые,



ум быстрый. От его проклятой бдительности ничто не ускользнет. То, чего оно не видит, оно угадывает, чего не может угадать — предполагает. Не с сегодняшнего дня люди мастера замечать большие бревна в глазах ближних.

Не стройте из себя невинности. Дело здесь идет не о церемониях, не об увертках. Вы, наверное, видите меня насквозь, чувствуете отвращение и, может быть, приходите в ужас. Но почему же никто не скажет мне этого? Хотя бы один, один единственный пришел и сказал мне все.

Повторяю, я не такой, как другие. На похвалы я плюю; лезть ненавижу; комплиментов не переносу.

Может быть, вы боитесь? Да клянусь вам, что первый, кто обратит внимание на какой-нибудь мой недостаток, будет моим спасителем, самым дорогим моим другом, настоящим моим братом!

Быть может, душа моя слишком ужасна, и у вас не хватает духу сказать вслух об ее гадости? Наберитесь смелости и говорите. Я вознагражу вас, чем смогу. Я дам вам все, что у меня есть; я украду, чтобы сделать вам подарок; я приду к вам в дом, буду служить вам, молиться на вас.

Вы не способны вскрыть зло? Тогда вы глупы, вы дураки, ибо, если зло существует, вы, посторонние люди, должны увидеть его с первого взгляда. Напрягите зрение, сделайте более строгими, следите за мной исподтишка, подвергайте меня неожиданному допросу. Делайте все, что хотите, но я непременно хочу, чтобы вы обвинили меня, чтобы вы безжалостно обнаружили меня. Моя жизнь и смерть, мое величие и отвращение — в ваших руках.

Что вы там шепчетесь между собою? Я знаю, я знаю, что вы умеете плохо говорить о человеке только за спиной, клеветать на него вполголоса, обвинять его, когда его нет. Но со мной эта подлость не пройдет. Выходите, выходите на свет божий, говорите громко. Я не стыжусь, не убегаю. Я хочу быть обвиненным, хочу быть запачканным, чтобы потом возвыситься и полететь, а куда, я сам не знаю.

А может быть, — простите за оскорбление, — но может быть вы не хотите обнаружить мои пороки и грехи, дабы я не мог исправить и очистить свой дух, дабы мне не было дано достигнуть совершенства, на которое я надеюсь, которого жду?

Я обращаюсь к вам, люди, ко всем вам, друзья и враги, — сжальтесь над этим бедняком, жаждущим величия. Не откажите ему в горечи обвинения и жестокости осуждения. Говорите без стеснения, осудите жестоко. Не останавливайтесь, когда увидите, что я плачу; не волнуйтесь, если увидите, что я бледнею. Я убью себя, если вы не укажете мне, насколько я виновен, насколько грешен, если вы сейчас же не скажете мне, какой я негодный и жалкий. На коленях обращаюсь я ко всем людям на земле. Имейте хоть раз смелость сказать правду в лицо!

## ТАЛАНТ

Все вокруг меня говорят, что я талантлив, и люди думают, что делают мне этим большую честь и доставляют превеликое удовольствие; некоторые доходят даже до того, что говорят, будто я очень



талантлив, что у меня большой талант, — это те, кто думает, что больше других любят меня, что они мне ближе других.

Дорогие люди, я благодарю вас, кланяюсь вам, и пусть бог поставит это вам в заслугу. Вы делаете и говорите все, что можете делать и говорить, и даже умеете победить свое естественное самолюбие и мою неблаговоспитанность и грубость.

Но неужели никто из вас не замечает, как вы меня оскорбляете и огорчаете этим вашим талантом?

К чорту ваш талант! На что он мне? Неужели вы серьезно думаете, что меня тоже удовлетворит быть талантливым человеком, оставаться до гроба подающим надежды молодым человеком, хорошим, остроумным товарищем, умеющим заинтересовать людей? За кого же вы принимаете меня, чорт возьми! Разве у меня веселое серое лицо человека, который довольствуется тем, что есть у всех, и счастлив, когда у него на языке с десяток идей, а в бумажнике сто франков? Разве вы, зловещие сороки, еще не заметили, что талант самый распространенный товар на человеческих ярмарках? А в особенности в Италии! Найдите мне, если сможете, в этой благословенной стране человека, у которого не было бы таланта. Если вы приведете мне хоть одного такого, я заплачу вам на вес серебра. Талант, дураки мои, бегают по улицам, наполняет дома, наводняет книги, испаряется из всех ртов, выливается даже из погребов.

— Какой талантливый юноша! Как жаль, что он ничего не хочет делать!

— Такой-то жулик, мошенник, но что за талант!

— Вполне с тобой согласен, он говорит ужасные глупости, но не станешь же ты отрицать, что он очень талантлив...

Подобные разговоры можно слышать в Италии ежедневно, на всех тротуарах, во всех домах и трактирах, где встречаются так называемые интеллигенты.

Кто умеет состряпать балладу или песенку с каким-нибудь хорошеньким мотивом и недурной рифмой, у того и талант. Тот талантлив, кто умеет рисовать цветочки акварелью — как настоящие! — талантлив, кто под гипсовым Бетховеном мило барабанит на фортепиано; талантлив, кто умеет с сентиментальным изяществом описать ужасы случившегося землетрясения; талантливы даже скульпторы, лепящие индийские смоквы, и дилетанты - футуристы, пользующиеся чужим умом, пускающие разом дым идей и дым гаванских сигар.

Еще раз спрашиваю вас: кто из нас не талантлив? Даже кто ничего не делает, и те талантливы, — даже политики — даже журналисты...

Пусть же раз навсегда будет сказано: кто говорит, что я талантлив, оскорбляет меня. Кто говорит, что я талантливый человек, огорчает меня.

Я отрицаю ваш талант и вместе со старыми газетами бросаю его в уборную. Я говорю вам ясно: для меня талант только высшая степень посредственности. Талант — это та высшая форма ума, которую все могут понять, ценить и любить. Талант — это та смесь легкости ума, перевязанная ленточками общих мест и чуть-чуть нетрезвого филистерства, которая нравится дамам, профессорам, адвокатам, светским людям, знаменитым обра-



зованным людям, всем тем, словом, кто на золотой середине, между небом и землей, между раем и адом, одинаково далеко от совершенных животных и от великого гения!

(Что мне вдруг пришло в голову! По-тоскански талант — *ingegno* — означает не только одаренный выше посредственного ум, но и те особые железные бородки, которые бывают на ключах и служат для открывания. Эти два смысла близки не только в словаре. Талант есть то, что открывает. С талантом можно проникнуть всюду, понять все, понравиться многим. Это паспорт жизни. Это универсальная отмычка кошельков и тех мест, на которых составляется карьера. У одного талант создавать красивые вещи, у другого заставлять думать, что его некрасивые вещи прекрасны. Это два разных таланта, но оба они выигрышны).

Пусть так. Пусть они выигрывают, пусть наслаждаются, пусть забавляются сами и забавляют всех этих талантливых людей. Я не из их числа и ни за что не хочу быть подобным им.

Ничего не поделаешь: что я ни делал, чтобы оглушить и убить себя, мне всегда нравились крайности. Из живых существ я люблю только тех, кто совершенно близок к растениям или животным, кто честно трудится, не понимая ничего другого, не разливаясь в разговорах и честолюбивых стремлениях, — или же настоящих гениев, великие души, больших, и, как утес в ночи, одиноких героев.

Крестьянин или Данте, — долой всех остальных, к чорту всех талантливых людей, всех остроумцев, всех ловких и ненавистных интеллигентов. Что вы по сравнению с грязным мужиком, который

молотит зерно, чтобы вас накормить, или по сравнению с поэтом, выжимающим из своей души слова, которые приводят в трепет, заставляют задуматься тысячи поколений? Слова и слова, мистификации и игрушки!

Что касается меня, то выбор уже сделан. Я не мог бы, если бы даже хотел, превратиться в дерево или пахаря, но я хочу, отчаянно хочу сделаться действительно великим человеком — произнесу открыто страшное слово — гением! Если же я паду на пути, не достигнув того, чего хочу, на что надеюсь, то охотно приму печальную участь, поплачу о ней, но не стану распутничать с теми, кого презирал, и умру одиноким, в уголке мира, как храбрый волк Де-Виньи!

И я ни в чем не раскаюсь: я уверен, что даже если я потерплю неудачу — мне так радостно будет чувствовать свою душу чистой и устремленной к чему-то нелепому и величественному, что я не замечу ни камней на улице, ни смеха тех, кто обрабатывает свой огород и думает, что это вселенная.

И не сердись, мое смелое я, если ты иногда будешь казаться глупым или невежественным. Гений не острит, не вылавливает грациозных мыслейшек печеньцем, не следит за последними номерами журналов и вышедшими книгами. Нет, нет!

Гений — безумец и дитя и гениален потому, что имеет смелость быть безумным и детским; он не может не казаться иногда невежественным и глупым человеком, который всему удивляется и в речах которого нет здравого смысла.

Но пусть придут к гению, о, мое я, те чудесные часы, когда, кажется, сам бог говорит его устами,



когда все залито светом, все раскрывается, все ясно и гармонично, как вода в прозрачной реке, — часы, когда душа пламенна, как огонь, воздушна, как воздух, любяща, как любовь, — часы, когда таинственное безумие все делает возможным, все священным, и трудно сказать, где мир и где твоя душа, где твоя душа и где мир!

Неужели вы не чувствуете, какая ваш талант слабая, бледная забава по сравнению с такими мгновениями? За один такой час, за один только час, я отдал бы весь свой талант, весь ваш талант, все таланты всех шутов всей земли, и даже тогда, может быть, мне казалось бы, что я украл этот час.

### DIES IRAE

Отчаянный зов в пустоту. Обращенный к другим, но произнесенный себе самому. Усилия, самобичевания, упреки. Высокие намерения, утонувшие затем в четырех столбцах статьи. Лихорадочная жажда чистоты, внезапно забытая между белыми бедрами женщины. Скачка к совершенному; зависть к небесам; любовь к опасному приключению, к великой попытке (прыжок человека в другую жизнь, по ту сторону жизни; детронизация Юпитеров; и исполнившееся, наконец, обещание змея, настоящее искупление без креста и без крови из белых рук, давших благословение); головокружительная тауматургическая, непобедимая мечта — и маленькая благочестивая обыденная жизнь; в маленькой комнате, в маленьком кафе, в маленьком городе, среди малюсеньких людей.

И все же я боролся. Я боролся гордо, отважно, со всеми надеждами в сердце и всеми желаниями в мозгу. Я отдал всего себя. Быть таким, сделать это — или исчезнуть. Я бился в искушениях неизбежной посредственности; старался создать вокруг себя безжалостное одиночество, если не физическое, то духовное; я боролся с собою; наказывал себя, имея в виду предстоящие ужасные испытания, приучал себя к страданиям. Я чувствовал, что должен весь сосредоточиться в себе, в самой интимной глубине себя, в молчании, которое дало бы мне возможность прислушаться к самому себе — и ничего больше. Первым человеком нового человечества должен быть я, я должен быть первым примером исключительно внутренней жизни, совершенно независимой от тела, от материи, от животных инстинктов. Я чувствовал, что я еще далеко от намеченной цели, что я еще не тот дух без пятен, без слабости, которому предназначено сопровождать людей при великом их переходе за пределы жизни. Но не потому я терял бодрость. Энтузиазм, порожденный самой нелепостью предприятия; отвага, по сравнению с которой все самые высокие человеческие стремления казались мне жалкими; безумная уверенность в будущем торжестве; колоссальная гордость чувствовать себя орудием столь необычной и столь чудесной в воображении миссии; абсолютная потребность уйти от действительности, от мира, от человеческой жизни — день за днем ослепляли меня в моем беге навстречу самому печальному пробуждению, какое только бывало в жизни смертного. Мне казалось, что я прохожу по земле, как невидимый гигант, который одну ногу ставит на вершину горы, другую — на другую вершину;



через пустынные зеленые моря он перепрыгивает, как через лужу; голова у него между звезд, и он греется у солнца, как нищий у маленького костра из хвороста.

В душе у меня в то время мелькали невероятные планы и апокалиптические видения, и более сильные со все усиливающимися пароксизмами безудержной мании вытесняли из гнезда менее сильные.

Но идея была только одна, — всегда одна и та же. Сделать возможным, желанным, осуществимым — возрождение человеческого рода, преобразование человека — зверя, всемирный приход человека — бога. Но необходимо было, прежде всего, чтобы и другие начали чувствовать то, что чувствовал я, чтобы презрение, отвращение, стыд, ужас перед нашей двусмысленной жизнью амфибий были во всех так же сильны, как во мне. Тогда я стал думать об искусстве.

Одно лишь искусство может сотворить чудо. Только поэзия могла бы сделать более чувствительным ужасное ощущение жизни, как она есть, часто ослабленное бессознательностью привычки; обновить испуг, разжечь печаль и разбудить стыд, заменить сладость покоя приспособления сознанием невыносимости. Теории не оказывают действия. Теории убеждают только меньшинство и скучны для большинства, но живое искусство, но захватывающая, сильная поэзия (поэзия поэтическая со всей ее яркостью, всей гармонией и неодолимой непосредственностью) склонит людей взглянуть на свое отражение в мертвом море человеческого существования и в ужасе отступить, внезапно охваченными желанием бежать, быть иными. Нарцисс, увидевший свое отражение в пруде, окаймленном

маргаритками, от этого умер; человечество от этого возродится к новой жизни.

Поэзия не могла быть — для меня в то время — мелкой, эпизодической, ограниченной. Я жил в атмосфере величия, замышляя великие дела; и поэзия (поскольку она была первым орудием искупления и ничем больше) должна была быть великой, величайшей. Величайшей хотя бы по замыслу, — как полотно, как картина. Космическая поэма, всемирная драма, бесконечная сцена. Обращая свой взгляд назад, я только две книги находил достойными внимания, в моем смысле: „Божественную комедию“ и „Фауста“. Два гигантских обзора жизни и истории: того, что здесь, и того, что там. У Данте — подземный и небесные миры, чтобы судить о мире земном; у Гете — мир мифа и метафизики, чтобы судить о мире реальном. Страдание и любовь; высь и бездна; святые и матери, и вихрь, который сопутствует между небом и землей бедному грешнику, ищущему спасения.

Но ни книга флорентийского монаха, ни произведение франкфуртского советника не давали мне того, что я искал. Обе легенды — о вечной жизни, о вечной молодости — не давали достаточных мотивов, чтобы вокруг них сконцентрировать жизнь всех людей во всех ее видах и моментах. Необходимо было нечто более великое, еще более великое. В христианстве была другая легенда, больше подходившая к данному случаю: страшный суд. И тут я набросал в уме и на бумаге единственную трагедию, соответствовавшую моему безумию: Dies irae, день гнева, ужаса, зубового скрежета, последнего осуждения первого и последнего человека.



Когда солнце побелело, как луна, на огромном почерневшем небе, а земля засохла, как забытый на дереве плод, люди попрятались в пещерах и подземельях, поближе к своим мертвецам, и сбились в одну кучу, как бараны при приближении зимы. Пришла весна, но цветов не было; последний соловей умер в своем одиноком гнезде; волы, уставшие от тысячелетнего труда, превратились в белые кости, разбросанные на покой по пустынным полям; а каменные, мраморные и железные города разрушались мало-по-малу в молчании, запустении и мраке.

Один только человек не захотел покинуть небо. Все его братья давно уж отреклись от палестинского суеверия, получившего имя от Христа; он один еще верил. Последний христианин ожидал на высоте признаков, долженствовавших, согласно предсказаниям книг, предшествовать великому концу. И вера победила, и перед его усталыми глазами осуществился апокалипсис Иоанна богослова. Черные кони неслись по опустошенной земле; море вздымало свои воды на небо и касалось вершин гор; небо разверзлось, и из ран черного свода падали на землю быстрые, несчетные стрелы, почти засыпавшие горевшие в море огня материи. И когда признаки светопреставления оказались налицо, последний христианин спустился в подземелье, чтобы возвестить братьям конец. „Страшный день наступил. Книга не лгала. Давид и Сибилла оказались правдивыми свидетелями. Нужно приготовиться к смерти. Близок суд: вот мы накануне дня гнева“.

Но люди не хотели умирать, не хотели верить в конец, в суд. Христианин кричал слишком громко.

Никто не хотел его слушать, но его слова смущали все сердца. Тогда некоторые вспомнили, что бог этого человека умер на кресте, и, в насмешку над этой его верой, распяли и его на деревянном кресте — чтобы заставить его замолчать. Пока железо пронизало ему руки, кровь текла тяжелыми каплями, а голый торс извивался в агонии, он еще раз возвестил о неумолимом близком конце. Когда смерть сомкнула ему уста, все люди почувствовали себя освобожденными и счастливыми; в подземелье началась веселая, разнузданная оргия, и последний день был адом дурных наслаждений. Но скоро под ногами у людей разверзлись пропасти; с грохотом, подобным тысячам громов, рухнули горы; своды подземелий провалились; вся земля превратилась в огромное безжизненное кладбище.

Все смолкло.

В молчании — как раньше — прошло несколько часов (или веков?). Шарообразное кладбище вращало в пространстве спокойствие своих мертвых костей. Все голоса смолкли; все проблемы были разрешены, и мертвецы могли, наконец, отдыхать, ибо никто не жил подле них; никто не вспоминал о них, никто не оплакивал их.

Но вот раздался трубный звук — страшные звуки воскресения. Острые, магические, невообразимые звуки; такие сильные, проникновенные, глубокие и повелительные, что все мертвецы должны были пробудиться — даже мертвецы, спавшие тысячу, десять тысяч лет. Звуки небесных труб, неизвестно откуда раздавшиеся, могущественные, как самое нежное слово Христа; такие энергичные, неутомимые, настойчивые, что от них задрожали похороненные под землей и в глубине морей кости,



что скелеты обросли мясом, что всей неисчислимой армии мертвецов они придали жизнь, дыхание, движение.

Вот долина Иосафата, большая как вселенная, открытая от одного моря до другого; вся покрытая людьми, запруженная, переполненная всем этим восставшим из гробов человечеством, всеми этими мужчинами, всеми женщинами, стариками, детьми, всех стран, всех цветов, всех возрастов, всех времен; все они братья, все родились под одной звездой, и теперь впервые встречаются— кричат, боясь и ждут.

Большинство не знает, почему они здесь, спрашивают и не понимают друг друга. Кто плачет в стороне, кто закрыл лицо, чтобы не видеть. Кое-кто находит знакомых, друг друга узнают, вспоминают. Начинаются разговоры — первые настоящие разговоры людей.

Исполнились мечты. Цезарь может говорить с Александром; Данте обнимает Виргилия; Карл V расспрашивает Соломона; солдаты ищут солдат; короли—королей; красивые женщины—потерянных любовников; крестьяне, родившиеся в горах и одиноко там умершие, сбились в одну кучу и осеняют себя крестом.

Наконец, все узнали, почему воскресли, узнали, что их ожидало. Истинные христиане ликовали. Наконец — то они увидят, как их Христос спустится с небесных облаков, чтобы судить и награждать. Тут и там уже начинали оправдываться и молиться просить о пощаде, отчаянно молить о последнем прощении. Кое-кто находил еще в себе смелости грозить отсутствующим богам. Некоторые говорили, что этот посмертный кермес был последним

ударом судьбы перед окончательным уничтожением. Были такие, которые предлагали построить дома и избрать правительство; некоторые мужчины и женщины в объятиях лежали на земле, чтобы в греховном сладострастии найти забвение от ужаса.

Никто не понимал себя; никто уже не понимал других. Каждый раз, как кто-нибудь возвышал голос, пытаясь быть услышанным, — тысячи голосов отвечали ему, и шум становился настолько невыносимым, что убеждал всех в необходимости молчания. Пророки еще пытались делать свое дело; один из них взобрался на гору и взволнованно, безостановочно проповедывал, хотя никто его не слушал.

Потом все утомились. Суд все не начинался. Молча прождали они долгие часы, долгие дни, может быть, годы. И никто не пришел. Тогда все вместе закричали:

Христос! Христос! Христос!

Единый глас всего человечества, всех людей, что были на земле, что любили, страдали и надеялись, поднялся к небу, как вызов. Они хотели быть судимы; неизвестность ожидания была страшнее и мучительнее ада.

Нищий сказал про жизнь нищих и потребовал вторичной смерти; король сказал о жизни королей; поэт о жизни поэтов; рабочий о жизни рабочих; проститутка о жизни проституток; моряк о жизни моряков. Египетские рабы, китайские крестьяне, римские легионеры, английские рудокопы сказали о своей жизни, и каждый просил милосердия; каждый молил, чтобы его убили.

Кто из них был счастлив? Кто из них был виновен? Жизнь никому не дала того, что он просил,



а большинство жило в полном мраке. Бог говорил только с избранными. Кто их создал такими? И что это была за комедия воскресения? Если не уготована лучшая жизнь, то лучше смерть! Гораздо лучше смерть!

Вслед за мольбой этих миллиардов несчастных опять наступило молчание. Даже христиане стали колебаться. Почему же торжествующий Христос не являлся на огненном троне среди разверзшегося неба, окруженный ангелами и святыми, как на картинах старых монахов?

Наконец, над немою толпою раздался голос и сказал: „Христос не на небе. Христос среди вас, униженный и одинокий. И он был человек, он был виновен, и он ждет своего суда. Пусть человек судит человека, пусть каждый получит то, чего он ждал. Кто верил в рай, те пусть будут блаженны; те же, кто верил в одну смерть, те снова претворятся в пыль и прах“.

И снова люди успокоились навсегда.

Многого я сейчас не помню. Каким смешным мне кажется теперь это исковерканное воспоминание об этой поистине трагической трагедии. Какое сравнение с Фаустом! Тысячи диалогов, сто тысяч сцен — и вся жизнь со всеми ее тысячелетними персонажами. Всемирная история, переделанная в драму адская трагедия, божественная комедия, доведенные до конца и увеличенные до невозможности.

Я мечтал поставить эту трагедию в огромном, как пустыня, театре, с настоящими горами вместо декорации; чтобы слова звучали жутко, как у Данте, чтобы фигуры казались вылепленными Микель-Анджело, а музыка была сильнее Вагнеровской. Я хотел, чтобы ветер мне служил дыханием, море —

оркестром, целые расы — хором и чтобы язык трагедии был новый, страшный, ясный и совершенный язык, в котором нашли бы себе отзвук все наши звуки от писка грудного младенца до торжественного гула водопадов. Стоны, от которых само небо приходит в волнение; вопли коленопреклоненных наций — и молчание, истинное, непостижимое молчание.

Все люди должны были приходиться в трепет, читая, видя, слушая мое произведение; и должны были бы в этом последнем вымысле узнать всю свою жизнь, все добро и все зло — и бегство без возврата к тому последнему мгновению (дню гнева), когда все будет вынесено на суд — их собственный суд под необитаемым небом.

И от испуга перед этим чудовищным представлением должна будет родиться необходимость в новой жизни — той жизни, которой я ждал.

## ДЕЙСТВОВАТЬ!

Философия! Желание и надежда на успокоительную уверенность; святые ворота трудных истин; фильтр аскетического восторга в необитаемой пустыне систем; высшая сладость неудавшейся жизни; дионисов суррогат нормальной эмпирии физиологических радостей и утешений за плату.

Философия! Симпатия детства; любовь юности; страсть молодости. Вера без священных писаний; культ без обрядов; поклонение без молитвы, и все же она дороже, ближе моему сердцу, чем все религии. Отвлеченная, голая, как великие произве-



дения первых гениев, мысль более гармоничная и совершенная, чем всякое творение; незапятнанное понятие, очерченное, как творческий рисунок на нетронутом полотне бытия.

Философия! Аладиновы миры духов, более живых, чем все живые; теней, более ощутительных, чем тела; слов, более осязательных, чем предметы; формул, более зажигающих, чем строфа.

Я знал тебя, я люблю тебя, я насиловал тебя. Ты нескончаемый пир моей трезвой жизни; моего чересчур крепкого здоровья; незабвенный гимн сухости моего сердца. Мозг, мозг, один мозг! Теории, принципы, диалектика, одна только отвлеченность! Я жил системами; я прожил системы; я питался метафизикой; мечтал о метафизике.

Моим Эдемом были чаши самых суровых идеологий,—в них не было ни одного зеленого листочка! Солнце, ослепитель небес, падало на мою голову, уже горячую от крови и рассуждений, ранило мои ослепленные глаза и закрывало их силой своего света. В эти одинокие часы из шипов и терновника и я, подобно анахоретам, знал плотской соблазн чувственных, земных прелестей. Женщины пристально глядели на меня своими большими, черными, открытыми глазами; а на солнечных побережьях морей гётевские желтые апельсины качались в пропитанном солью и бесконечностью ветерке. И в течение долгих лет, стольких лет, стольких месяцев, стольких дней — и стольких ночей! Я был тебе верен, как рыцарь из *Chanson de Geste*, я был тебе верен, и не было у меня иного бога, кроме тебя. Я искал тебя во всех книгах; почитал тебя во всех формах; черпал тебя в каждом слове; покорял тебя в великих; защищал

в малых. Большие праздники духа в каждом открытии; долгая борьба плечом к плечу за каждое овладение истиной; ночи задумчивого бреда за каждое освещение.

Тебе, философия, я всем обязан: стремлением в очищенный мир; экстазом подъема в мир разума; жаждой разрушений; сознанием моего превосходства над людьми улицы. Я весь был твой, а ты была всем для меня.

И все же пришел миг, когда ты явилась мне в своем настоящем виде; каббалистические знаки, в центре которых ничто; иронический бег к разрушению самой себя.

И я отрекся от тебя, презрел тебя, уволил тебя, предал тебя. Для того, что я хотел сделать, ты служила только препятствием. Того, что ты обещала, ты не исполнила. С тем, что ты исполнила, я не знал, что делать. Я стремился к действию, к работе, к преобразованию,—я хотел, чтобы реальность сегодняшнего дня была лишь ступенью к реальности завтрашнего, ты же давала мне лишь бесполезное созерцание, покой абсолютов или утомительную лихорадочность нетерпеливых скачек к цели без перспективы.

Философия была познанием (созерцанием) и поисками универсального (единого) начала.

Я же стремился к действию (преобразование, творчество) и, следовательно, к реальности (непосредственной конкретной реальности: к факту. Я опрокидывал все установленные философские понятия; я обрывал традицию и возвращался к префилософии. И я думал, что приносил этим пользу философии философов. Для меня каждая проблема была лишь проблемой орудий — пре-



образования орудий. Каждый философ заботился лишь о том, чтобы найти новые разрешения старых проблем, но все эти старые и более современные разрешения исходили из одних и тех же предпосылок, подчинялись одним и тем же законам, впадали в одни и те же паралогизмы, — это были, одним словом, продукты совершенно одинаковых умственных построений. Бесполезно было продолжать идти по этому слишком проторенному пути. Вековой опыт убедил нас — в виду совершенно пустых результатов — в том, что тут нечего было больше делать, не на что надеяться. Усовершенствование терминологии, улучшение методов, частичные реформы логической машины, изменения в языке — все это посредственные маневры людей, не умеющих сойти с широкой дороги их отцов. Чтобы изменились результаты, чтобы иметь право надеяться на какую-нибудь определенную истину, чтобы добиться чего-нибудь поистине радикально нового, следовало принять трудное, но единственно возможное решение — начать все с другой стороны.

Философия — построение, выращенное с помощью орудий; орудиями философии являются мозги философов; чтобы улучшить их произведения, нужно улучшить самые орудия; следовательно, чтобы улучшить философию, нужно улучшить мозги философов. Нужно преобразовать души.

Иначе: что-нибудь делать, действовать, преобразовывать — а не только познавать, описывать, созерцать.

Философы (но не все: очень немногие) думали лишь о том, чтобы изменить одно из орудий: язык, но не подумали о самом важном из всех: о душе.

Тот же принцип можно применить и к морали.

К чему ведет увеличивать число норм, предписаний, императивов, если люди разводят этическую канитель, но продолжают быть теми же негодьями, что и прежде, может быть, менее дикими, но, конечно, более лицемерными! Найдите способ изменить вкусы, внутреннюю ценность душ, и добродетельные поступки посыпятся сами собою, без помощи проповедей, советов и правил. Преобразите непосредственно, радикально самую индивидуальность человека, и всякая система, как бы квинт-эссенциальна она ни была, в то же мгновение сделается излишней! Сделайте так, чтобы люди естественно сделались добродетельны, вместо того, чтобы надоедать им диссертациями о добродетели.

Итак, я и на этом пути возвратился к своей навязчивой мечте духовного революционера: преобразовать людей, преобразовать умы. Но я хотел изменить не только души, но и предметы. Более того: для того и хотел я изменить души, чтобы они быстрее и скорее изменили предметы. Но чтобы их изменить, недостаточно упомянуть их имена в книгах; недостаточно классифицировать их и проследить их генеалогию; недостаточно свести их к общим мыслям, а общие мысли к еще более общим понятиям, и формулировать отношения причинности между различными группами понятий. Недостаточно было выставить их в витринах и над каждой витриной надписать (ненарушимую!) статью закона. Чтобы преобразовать реальность, недостаточно познать ее извне и сквозь формы рассудочного интеллекта и символы лексиконов.

Следует в нее углубиться, внедриться в нее, сделаться ее частью, атомом ее массы, моментом



ее продолжительности, искрой ее пламени, каплей ее течения.

Следует войти в соприкосновение со всеми ее видами (даже самыми скрытыми, самыми преходящими, и наименее явными); раствориться в ее полноте; поплыть по ее течению; потеряться в ее необъятности; сделаться живой действительностью в действующей жизни. Не оставаться перед ней, как мозговой организм, как сетчатое стекло, как наименователь и измеритель, а окунуться в нее очертя голову, проникнуться ею и проникнуть в нее; чувствовать в себе ее вечный, многоцветный, многозвучный, многовкусовой флюид, согласовать его с пульсацией нашей крови, с биением нашего сердца. Сделать так, чтобы вся она сделалась наша, а мы все — ее.

Никто не стремится к этому мистическому перевоплощению.

Ни даже художники: и они хотя и выражают реальность, но выбирают, бракуют, умаляют ее. Есть такие стороны, такие моменты, которых никто не видит, никто не ищет: это совсем не то, что акробатическое карабкание к пустому единству монизма. Философы должны были бы заняться этими терпеливыми поисками конкретного факта, вместо того, чтобы продолжать тешиться фребелевскими игрушками априорных определений и симметрических построений. Это было бы шагом к покорению мира.

Когда человек перестанет отделять себя от реальности, как от чего-то стоящего вне его, что его судит и измеряет, и растворится в ней так, что каждый атом будет ему братом, а каждая видимость — сестрой, тогда ограниченное тело человека

исчезнет в необъятном теле вселенной; микрокосм действительно превратится в макрокосм, и каждая часть мира делается как бы частью личности человека; и как воля управляет по своему желанию каждым членом человека, так он сможет тогда двигать всеми элементами мира.

Из этого брожения идей во мне родился тот род философии, который носит название прагматизма и который в других имел совсем иное начало, иные черты. Тем не менее я вошел в союз с прагматистами и принялся распространять истины нового учения. Для меня это был магический мистицизм; для других — методическая мера предосторожности. Все мы смешались в одну кучу, но в мирную квашню консервативных и традиционных учений была брошена закваска.

Человек теории не мог забыть теоретиков. К ним в особенности обращался я в своих мыслях, думая иметь их товарищами в своем великом деле. С помощью искусства я заставляю сразу проснуться чувствительных; с помощью теории я хотел подготовить и увлечь интеллигентов. Для такой цели я никого не мог оставить в покое, никем не должен был пренебречь. Поэзия и интуиция, образ и концепция должны были помочь мне. Все формы духа для поднятия духа, все инстинкты и силы для создания нового человека.

## НА ПУТИ К НОВОМУ МИРУ

Глава философского учения: законодатель, апостол и главный представитель его. Философия действия, изменений, преобразований, творений.



Не терять больше времени на разрешение неразрешимых проблем, в безвыходных тупиках, в сетях и капканах фантазеров-диалектиков. Истинное — полезному. Знать — делать. Между несколькими неопределенными истинами выбрать ту, которая более всего возвышает тон жизни и обещает нам более длительные награды. А то, что еще не истинно, мы, если захотим, сделаем истинным: силой веры.

Евангелие \*силы, евангелие отваги, практическое, оптимистическое, американское евангелие. Нет больше страха: сметь и перепрыгивать. Нет больше сомнений: каждая крупная теоретическая бумажка должна быть разменена на мелкую монету реальных фактов, желаемых результатов. Долой метафизику, и да здравствует религия. Та дает нам сухие концепции мира; эта горячие, утешительные перспективы жизни, которая не может быть прервана, ценности, которых нельзя отрицать.

Но что нам знание, благодаря которому мы ничего не узнаем и которое к тому же даже мимоходом не затрагивает нашей жизни, не меняет ее ни на йоту? Нам нужна теория-инструмент, идея-молот, промышленная философия, практическое использование духа.

Взятая в таком несколько лирическом тоне и должным образом преувеличенная, эта школа вдохновляла меня. Я взял ее под свою опеку, развил ее, сделал ее популярной, внушил ее другим, писал неистовые изложения и апологии ее.

Но этого было недостаточно, она все еще была недостаточно моя. Следовало вырвать ее из ее англосаксонского дома, оторвать ее от пиетизма

переодетых миссионеров, втащить ее на небеса абсурда: сделать ее великой или бросить ее.

И я взял ту часть ее, которая мне больше импонировала — ту, которая учила, как сделать истинными, с помощью веры, верования, не соответствующие действительности. Зачем ограничивать это воздействие верованиями? Зачем создавать истинность только некоторых вер? Дух должен господствовать над всем; сила воли не должна иметь границ. Подобно тому, как научное сознание творило известным образом факты, желание верить творило истину, — так дух должен был действовать на все, творить и преобразовывать по своему усмотрению, без посредников. До сих пор для воздействия на одни внешние предметы мы нуждаемся в других внешних предметах, как в орудиях, и ум наш должен повелевать нашим мускулам, они же, в свою очередь, должны привести в движение другие части материальной действительности, чтобы иметь возможность двигать или изменять те реальности, на которые мы метим. Я же хотел, чтобы дух мой все делал сам, одною своею волею, без всякого посредничества. Ведь и дух, думал я, сила природы и даже наиболее благородная, совершенная и утонченная. Почему же ей не быть и самой могущественной? Нужно только понять и направить ее. Подобно тому, как мы уже умеем воздействовать непосредственно на некоторые части реальности, которые являются частью нас или непосредственно относятся к нам — мы должны воздействовать на всю реальность, на всю без исключения. Достаточно знания и опыта; нужно только хотеть, надеяться, искать. Если мы победим, весь



мир будет наш, будет мягким, послушным веществом в руках нашей воли, и слова первой змеи сбудутся: „Вы будете подобны богам“.

Быть богом. Все люди — боги. Вот великая мечта, несбыточная греза, высокая цель, к которой я стремился. И я сделал это своей программой для себя и для других. Подражание богу: всеведение и всемогущество. Путь к достижению: усовершенствованный, усиленный дух, с новыми качествами и способностями.

Великая, необъятная мечта, но я не отчаявался в близости ее осуществления. Кто из людей со всей решимостью воли задавался целью сделаться богом? Шарлатанами — вот это да, пророками и тауматургами — тоже, но богами никогда. Некоторых из людей сочли за богов, но позже, и не они сами, а другие. Божественность была у них не целью, а действием случайной, последовавшей позже веры. Римские императоры, спокойные безумцы, считали себя богами, но они полагали, что уже были ими, а не стремились ими сделаться. Я же хотел быть богом и сознавал, что я от этого еще далеко.

Были такие, кто стремились слиться с богом — мистики, аскеты, святые, но они хотели войти в него, как частицы, капля, атом бесконечной божественности, что все порождает, все собирает, излучает и поглощает ритмом своего дыхания.

Но я хотел быть не частью, а всем; чтобы не я был частью, а все было частью меня, все послушно мне, как если бы горы, звезды и миры были послушными членами моего тела. Я не верил в бога. Бог для меня не существовал теперь, как не существовал и раньше. Я хотел создать его для будущего и сделаться, я, слабый, жалкий человек,

высшим, могущественнейшим и богатейшим существом.

На этом моем ожидании и подготовке человека-бога я думал основать религию. Где? Не в старой, бедной и робкой Европе с ее золотушной цивилизацией. В Америке, в обширной Северной Америке, с ее бесконечными возможностями, где все новое встречает хороший прием, где каждое *credo* находит свой храм, каждый Моисей свой капитал. Я нашел себе достойного товарища, такого же безумца, как я, решившегося сопровождать меня и разделить со мной и унижения, и победы.

Мы позаботились обо всем: о том, чтобы хорошо научиться английскому языку, изучить положение Америки и добыть денег для начала. Решено было в течение какого-нибудь года готовиться в одиночестве, изучать проблему силы духа, делая опыты, укрепляя свою волю, открывая тайны прямого духовного воздействия, так чтобы быть готовыми к совершению чудес в случае, если тамошние люди, упрямые, как Петр, и невежественные, как Фома, потребуют их от нас. Все было предусмотрено: даже имя новой церкви, даже пункты чудесной, монашеской веры. Два бедных итальянских философа, одинокие и отважные поедут туда и предложат всем могущество, богатство, уважение, здоровье, вечность, все, чего люди хотят, к чему они жадно, упорно стремятся. Мы с ним одни переплывем море, чтобы преобразовать эту землю, некогда открытую упрямым и смелым итальянцем. А оттуда мы вернемся в Европу, в сопровождении тысяч верующих, с ореолом славы вокруг головы, уверенные в том, что можем



с нашего осколка материи послать вызов всем мирам, подчиненным нашей воле.

## ЗАВОЕВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОСТИ

Теперь уже, действительно, ума и добродетели, поэзии и философских систем было недостаточно.

Прежде чем переплыть океан в качестве пророка нового царства, я должен был в действительности, реально быть тем, о чем я в долгие бессонные ночи мечтал для себя, что предлагал другим: святым, учителем, полубогом.

Время (и без того медленное!) предположений, обещаний, надежд, программ — прошло.

Как вообразить святого без чудес, основателя веры без почитателей, бога без могущества? Если только одно это придавало смысл моей жизни, то не мог же я дольше откладывать осуществление этого! Ангельская бабочка должна была пробить серый кокон, после воздушной щедрости цветка плод должен был созреть. Перестать медлить; взорвать мосты; изменить жизнь, характер, душу; поставить печать факта на пространственные обещания намерений.

Я не надеялся, что смогу сам все создать из ничего. И я, со всем моим горделивым презрением к прошлому, принужден был обратиться к какой-нибудь традиции, довериться чужим знаниям, воспользоваться старым опытом. Но куда идти? Где больше надежд на помощь?

У меня была одна только непосредственная цель: усилить до бесконечности силу моей воли;

сделать так, чтоб мой дух мог повелевать людям и предметам без помощи внешних актов. Иначе: творить чудеса. Ничего больше.

Святые и маги (или те, кто были и тем, и другим: еврейские пророки, индусские факиры) считали, что творили чудеса. Первые, не стараясь, почти не желая; последние, подчинившись строгой дисциплине, с помощью тайных учений и чуждых им сил. Но в общем чудеса были возможны, и было даже положено начало искусству чуда. Начало, намек, зачаток; необходимо было создать это искусство, найти его законы и приложить их. Для меня было неважно, было ли то, что историки блаженных и теоретики магии называют чудом, настоящим чудом; в строгом, философском значении слова, это были необыкновенные факты; примеры необычных сил; проявления необычайной воли людей, одаренных божественными способностями: этого для меня было достаточно.

Изучая этих людей, проникая в их жизнь, отмечая, каким путем они добились умения делать то, что они делали, мы должны будем в конце концов открыть их тайну, основную, общую пружину чудес. Затем уже все будет зависеть только от воли и упорства. Когда дорога найдена, путь перестает быть трудным: где прошли другие, пройду и я.

Святые привели меня к религии; маги — к оккультным наукам. Пути эти расходятся только по внешности: религия и магия родились одновременно, в первобытные времена. Святые были тауматургами (а сам Христос?), а маги (настоящие) были, должны были быть чистыми аскетами. Оба пути уже были мне знакомы: небесный путь вел



к священному раю; подземный—в проклятые преисподние.

После скептического фиаско с моей Aufklärung я вернул некоторые симпатии вере, даже христианству, даже католицизму. Я перечел евангелие без дерзкой вольтеррианской злобы первых лет; я стал посещать церкви и не для того, чтобы любоваться архитектурой и созерцать картины над алтарем и фрески в капеллах. Я перечел евангелие, ища в нем Христа; я пошел в церковь, чтобы найти там бога.

Кульτ привлекал меня — и не одной красотой обрядов и музыкой торжественной обедни. Нечто непосредственное — потребность в вере, потребность снова быть ребенком, чувствовать свою общность с христианством, из которого я вышел, — тихо волновалось во мне, не решаясь принять окончательную форму. Я читал св. Августина; размышлял над Паскалем; смаковал „Цветочки“ св. Франциска Ассизского. Я дошел до Introduction à la Vie Dévote и до Exercitia Spiritualia. Психологическая странность. Жажда знания?

В значительной степени, да. Но была в этом и закваска жажды веры, незаметного желания принять участие в том великолепном религиозном опыте, который со времен Иисуса до наших дней дал миру столько великих душ и великих произведений. Апологетика интересовала меня; и мистицизм, хотя бы по примеру друзей, привлекал меня. Я занялся древними и современными мистиками: от Плотина до Новалиса. Больше всего немцами (Майстер Экхарт, Сузо, Беме) и испанцами (Лулло, св. Тереза, с. Хуан де ла Крус), созерцательными и чувственными — и не забывал пустынников, анахо-

ретов, отчаянно влюбленных в бога, проводших жизнь в постоянной молитве, среди камней гор. В каждом находил нечто подходящее к моему случаю: стремление в высь, растерянность, утомление, надежду на более высокие судьбы.

В некоторых иноверческих мистиках — как в Новалисе — я находил определенно выраженные обещания того, что искал, — но одни обещания и ожидания. Другие приводили к разреженным высотам самой отвлеченной любви, но хотели, чтобы я отказался от своего знания, от познания, от своей личности. Они звали меня к уничтожению моего я, к растворению его, но не в подвижном, волнующемся океане действительности, а в бесконечной неопределенности единого и невидимого бога. Правда, некоторым из них, растворившимся в этом неопределенном и невыразимом божестве, удалось осуществить именно то, к чему я стремился: чудо. Отрекшись от всего, даже от самих себя, от своей индивидуальности, они всего достигли. Все будет дано тому, кто все дает. Это было маленькое отверстие в тайне божественной силы, но узкое и неверное.

Создавая теорию определения различия, я уже убедился в том, что необходимо слиться со всем, если мы хотим, чтобы это все повиновалось нам. До тех пор, пока мы чувствуем себя разделенными, мы не имеем права отдавать приказаний тому, что мы чувствуем оторванным от себя; а если и даем их, то их не исполняют. Фактически, мистицизм был разрушением преград, отрицанием разделения, стремлением к абсолютной, вечной нераздельности. Мистик не чувствует себя отделенным от мира, от бытия, от бога. А сде-



лавшийся неразрывной частью мира, каждый остаток его воли отражается в бытии: отрекшись от своей особой воли, он становится, не желая этого, чем то в роде части общей воли, и самые строгие физические законы окажутся недействительны перед любовным желанием истиснутого.

Но и могущество святых ограничено и непостоянно, и в средстве его достижения кроется самая причина его невозможности. Полное могущество могло бы быть достигнуто только при полном отречении от собственного я. Но если бы это отречение было достигнуто, то все воспоминания о мыслях, все следы воли, каждый стимул к желанию исчезли бы безвозвратно. А тогда не возможны были бы и веления. Кто достиг бы высшей силы, потому самому не мог бы воспользоваться ею.

Но я не мог, не хотел отречься от самого себя. Какое мне было дело до полной возможности, потерянной в бессознательности? Я хотел действовать на материю: познавать, знать, предвидеть. Не терять самого себя, не уничтожать мысли. Тогда я смелее обратил свой взор в другую сторону: к оккультизму.

Не первый раз уже я пытался проникнуть в атриум проклятого храма. Я стучался в эту дверь еще во времена чрезмерного энциклопедизма. Чудесное всегда привлекало меня (о „Тысяча и одна ночь“, величайшее из поэтических произведений!), и мне еще не противно было искать его в постукивании круглого столика или в бессвязных словах недостаточно отшлифованного медиума. Идя по плебейской большой дороге спиритических

сеансов (смешные салоны; старые, одетые в черное истерички; красные лампы, столкновения ног; сдержанный смех; тягостное молчание в ожидании роковых ударов!), я познакомился с некоторыми шпионами с того света. Некоторые, впадшие в детство, добивались хотя бы какой-нибудь уверенности в том, что не все кончается последним вздохом. Другие, большие идеалисты, стремились к нравственному возрождению земного мира путем познания потусторонних законов. И, наконец, третьи, наиболее смелые или наиболее шарлатаны, давали понять, что все маленькие физические чудеса медиумизма и путанные компиляции теософии — ничто: в лучшем случае, это только начало. Они указывали на высшие учения, на тайные традиции, на невидимых далеких учителей, на эсотеризмы первого порядка, уготованные для тех, кто сможет преодолеть тысячи ужасных испытаний, — они давали неопределенные обещания могущества, того самого могущества, которого я всюду искал. С некоторыми из них я много говорил; я прочел их излюбленные книги (темные источники их кропотливого знания); я посетил несколько собраний, пахнувших дьяволом; я приобщился, издали, к теософии; пробовал проделать дыхательные опыты индо-американских йогов; упорно доискивался тайн; предложил себя в ученики. Не потому, чтобы я так верил в теологическую и символическую путаницу, из которой, по их мнению, должен был брызнуть свет (свет, который должен был вдохнуть в нас новую жизнь, жизнь, богатую могуществом); я думал только, что было что-то истинное в инструкциях, преподаваемых ученикам, в том, что относилось к подготовке к умственному



(и физическому) режиму, отличному от обычного. Мне смешны были их путанные системы, их обряды и формулы, глупо заимствованные или унаследованные, но я все же упорствовал в своей вере в то, что во всей этой массе сведений и опытов, которыми Восток и Запад обменивались в течение десятков веков, должно было заключаться и нечто прочное. Ядро, семя, первый фрагмент искусства чудотворства. И с обычным мне жаром я окунулся в изыскания, в чтение и размышления. Материальные результаты духовных причин все же были налицо, если только не лгали все медиумы и медиумисты.

Намеком на будущие отношения между людьми, без помощи медленных, тяжелых посредников, была уже телепатия, управление предметами на расстоянии, так называемые материализации (не всеми опровергаемые), первые примеры трансцендентных возможностей, прямого, психического воздействия на мир инерции. Чудеса эти совершались только ненормальными людьми в необычном состоянии: следовало сделать их возможными для всех и в обычном состоянии. Часто они были невольными: следовало сделать их послушными воле. Они были редки: следовало сделать их обычными.

Чтобы добиться всех этих завоеваний, следовало, как я убедился, действовать по определенному методу. Кто были агенты, действующие лица этих чудесных деяний? Святые, маги, медиумы: различные названия сверхсильных людей, которые, исходя из разных вер, совершали одинаковые чудеса. Таким образом, тайна была не в учении. Святой, вдохновленный католической теологией; маг, пропитанный каббалистической, александрий-

ской, парацельсией теологией; медиум, напичканный спиритуалистической теологией в стиле Аллан Кардека, делали, стремились делать или обещали делать одно и то же. Настоящая причина крылась, следовательно, в самой сущности этих избранных людей, которые лишь случайно или под влиянием какого-нибудь теоретического неистовства и лишь временами проявляли свою силу. Все дело было в этом: глубоко, подробно, детально изучить их жизнь, систему их жизни, их организацию, их стремления и аномалии. Построить физиологию и психологию могущественного человека. Прodelавши эту работу, легко будет извлечь из нее нечто в роде методики для усиления воли, а затем воспитать и искусственно обучить людей, чтобы каждый получил свою долю божественности. Я оставался верен своей идее и думал не о теории, а об орудии, о преобразовании орудия, а не об изменении слов и терминологии. Установив, таким образом, точно свое задание, свой путь, я весь отдался работе. Общая и частная психология, нормальная и патологическая, легенды о святых и автобиографии ясновидящих, отчеты о медиумических сеансах и исповеди посвященных, магические пропедевтики и истории тауматургов: я все поглощал с прежней своей нетерпеливой алчностью.

Я собрал бесконечное количество заметок; ходил по ложным следам; производил опыты; думал, что нашел; терпел неудачи, бросал, вновь начинал... Времени было мало, молодость ускользала; обязательство, торжественное обязательство всей моей жизни — было принято. Следовало во что бы то ни стало открыть тайну; я должен был овладеть ею или исчезнуть. Я жил в постоянной



тревоге; я изменился; ходил, как во сне. Меня непрерывно била лихорадка; мозг отказывался далее работать... Голова моя постоянно ныла, как под ударами молота; я несколько раз падал в обморок; часто забывал направление, значение предметов, слов. Друзья встревожились; я грубо оттолкнул их. Я видел вблизи смерть; я искал одиночества; всюду я видел врагов. Я решил уехать, ничего никому не говоря. Там, наверху, в горах, ближе к небесам, вдали от городского шума и суеты, мне легче будет победить тайну. Моя слабость все росла и начинала беспокоить меня; жестокие кошмары осаждали меня по ночам; безумие уже сторожило меня, готовое схватить меня в свои лапы; все потеряло яркость вокруг меня, вокруг моего поколебавшегося рассудка, страдальчески тянувшегося к невозможному.

Я уехал один для последней попытки — со своей безумной мечтой в душе. Я должен был спуститься с горы победоносным и страшным, как бог — или не возвращаться совсем.

Но я вернулся.

---

LENTISSIMO



### СПУСК

Я вернулся... Не могу вспомнить об этом возвращении. Не могу сказать даже, чем оно было для меня. Адская краска стыда заливает мое лицо. Холодный трепет проходит по спине. Затуманиваются глаза; сжимаются зубы: вот-вот остановится сердце; но оно вновь оживает и еще сильнее прежнего бьется, словно желая заглушить звучавшие внутри упреки... Это было не возвращение, а бегство, поражение, гибель. Я чувствовал, что лучшая часть жизни прожита; что моя роль в мире окончена. Я мог еще продолжать есть, спать, писать и даже нравиться (интересовать других, составить себе имя и т. д.) но метафизическая жизнь моя резко прервалась. Не период кончался, кончался человек. Не опыт оканчивался, а душа человека угасала.

Надежда, гордость, совершенство, божественность! О, грезившиеся мне мечты, о, испытанные мною восторги, о, неудовлетворенная любовь, нетерпеливая, как весна, и жаркая, как август! Кто не испытывал ничего подобного, кто не ждал долгой темной ночью, чтобы открылись двери и был



великий свет; кто не прикасался пересохшими губами к источнику, из которого должна была брызнуть струя; кто не видал себя великим на вершине самой высокой горы, соперником бога, повелителем людей, господином земли, по ту сторону и выше добра и зла, полезного и ненужного, мелкого и большого, гнусных и славных человеческих деяний, кто не был там наедине с собой, один в небесах,— тот не поймет того, что я чувствовал, что я теперь чувствую, вспоминая о своем возвращении.

Я спускался. Я шел с высот, с гор, с холмов. Но я спускался не как гордый пастырь, несший из неопалимой купины заветы истины, вырезанные на камне и в сердцах. Я спускался не как добрый пастырь, из окутанной ночью оливковой рощи к мукам, обещавшим вечность, к смерти, дававшей начало жизни. Я спускался одинокий и слепой. Я не спускался; я катился в пропасть. Никакая улыбка надежды не освещала моего лица. Все было кончено. Начиналось посредственное, низкое, подлое—и навсегда. Прощай, молодость! Прощай, божественное величие! Прощай, истинная жизнь!

Я взобрался на горы, питая нелепую надежду, что, поднявшись на тысячу или две тысячи метров, мы становимся ближе к небу. Я замкнулся в уединении, воображая, что существовало другое одиночество, кроме того, которое может создать внутри себя сильный, сосредоточенный в себе дух. С головой, покоившейся на скошенной траве плоскогорий, с руками распростертыми, как у распятого титана; не видя ничего, кроме необъятной лагуны поэзии и веры, лицом к лицу с открытым

небом, начиная дрожать, когда дрожали звезды на темно-голубом, сумеречном своде,—я ждал мгновения, мига, удара, взрыва—ослепительного открытия, чуда. Но никто не ответил на мои мольбы, никто не пошел навстречу моим ожиданиям. Все осталось глухо к моим призывам: все было, как прежде. Казалось, люди издалека насмеются надо мной. Я слышал, как они, почти довольные, хохотали.

— Он хотел быть чем-то большим, чем мы. Выйти из человечества. Он испытывал ужас перед нашей жалкой жизнью. А теперь и он, если хочет жить...

(Только где-то далеко плакала женщина... Но действительно ли она плакала? И искренно ли? Быть может, из обманутого тщеславия?).

Я захворал. Немногие силы, которые еще у меня оставались, покинули меня. Я вернулся к домам, в мой дом—в среду близких, в среду далеких. Я вернулся, как возвращается в тюрьму узник, на один час возомнивший себя помилованным. Я был уже не тот, что прежде; не то, чем я хотел быть. Я был чудовищем: несчастным, окаменевшим чудовищем. Бледный, вялый, молчаливый, я всех избегал. Ничто не привлекало меня больше в мир общих ценностей. Я покинул даже друзей. Сказал, что никого не хочу видеть; что на некоторое время хочу остаться один, в диком одиночестве, как бывало в годы юности. Я заперся дома. Поехал в другой город. Я ничего больше не делал: не отвечал на письма, не возражал на оскорбления, оставлял без ответа любовь.

Что еще могло захватить или удержать меня после того, что я испробовал? Искусство? Слава?



Мысль? Но ведь они-то и были теми радостями, которые я оставил позади, тем счастьем, от которого я отказался, теми целями, через которые я перешагнул, не достигнув их, ибо они казались мне слишком близкими, слишком мелкими.

Как может тот, кто стремился ко всему, удовлетвориться малым? Как может довольствоваться землей тот, кто искал неба? Как может примириться с человечеством тот, кто вступил на путь божественности?

Все кончено, все завершено, все погибло. Делать больше нечего. Плакать? Но ведь для этого еще нужна энергия; нужна надежда. Я же больше не существую, я ничто, я ничего больше не хочу и не желаю: я не двигаюсь. Я вещь, а не человек. Дотроньтесь до меня: я холоден, как камень, холоден, как могила. Здесь похоронен человек, который не мог сделаться богом.

### Я ВИНЮ ТОЛЬКО САМОГО СЕБЯ

Я не ропщу на тебя, о судьба, вечный абстрактный виновник человеческого малокровия, и не сержусь на глупость и злость людей, воспрепятствовавших цветению и оплодотворению моего духа и не доставивших мне победы, которую, я, может быть, заслужил.

Рассмотрим это может быть, друг мой. Я оказался слаб, но постараюсь не быть пристрастным. Да пошлет мне бог смелость открытыми глазами смотреть в свои открытые глаза, без пауз, пропусков и умолчаний читать в книге

воспоминаний, растравить раны до кости, не боясь боли и гноя.

Мне не удалось сделать то, что я поставил себе целью, я не исполнил того, что обещал, я не достиг той высоты души, той славы, той силы, о которой я мечтал, которой я искал все предыдущие годы. Кого винить? Может быть, слишком большие планы, обещания и желания? Ничего подобного: нет недоступных высот, есть только слишком короткие крылья. Я стремился к некоторым таким вещам, которые считаются невозможными, которые до сих пор действительно не были возможными ни для одного человека, но ведь это - то и было причиной моей гордости, моего опьянения. Разве не сам я, добровольно и отважно, вступил в маленький отряд искателей абсурдного, неисполнимого.

Нет, нет: на это нечего ссылаться. Может быть, свалить вину на непреодолимые препятствия со стороны людей, на нищету, на посредственность моей эпохи, зависть тех, кто стоял близко, презрение тех, кто стоял вдалеке, на равнодушие большинства? Но и это выдумки. Нет той силы, которая не могла бы быть побежденной большей силой; нет того врага, которого не мог бы повалить тот, кто сильнее его; нет той нищеты, которая могла бы воспрепятствовать приобретению удивительных богатств; нет того льда, который нельзя было бы растопить, нагреть, довести до кипения. Когда кто-нибудь задумывает дело, он должен заранее рассчитать, что нужно для завершения его. Если же у него не хватает сил, то он должен искать и обрести их, прежде чем приступить к делу, или же бросить все, забиться в угол и делать то, что делают все.



Нет, дорогой мой; и это не оправдание. Дело в том, — теперь я могу это сказать, — что наиболее слабые обыкновенно избирают наиболее трудные пути, наиболее трусливые — задаются самыми смелыми задачами, а те, у кого узкая грудь и некрепкие ноги, ищут длинных путешествий. Почему? Причин на это много: любовь к контрастам, встречающаяся у всех людей; потребность возбуждать или оглушать себя опьянением силы и величия, неясным предвидением удобного оправдания, когда предприятие не удастся, и причины этого можно будет искать в самом его величии. Так, на вид делая больше всех, можно делать меньше всех, подготавливая себе славное, красивое отступление: планы были так грандиозны, что не хватило сил; кто знает, что он создал бы, если бы у него было чуть-чуть поменьше честолюбия!

Я настолько хорошо знаю все эти уловки, увертки и кокетство побежденных, что они мне ни к чему. Пусть не говорят, что я скрываю свое ничтожество под лучами софизма, что я маскирую свою духовную нищету горстью поэтических и патетических румян.

Я не добился своего потому, что недостаточно серьезно этого хотел, что не сумел добиться; вот чистая, голая и простая истина. Мне не удалось исполнить задуманное, потому что у меня не хватило сил, потому что у меня не хватило сил даже на то, чтобы поискать и найти нужные мне силы, потому что не носил в себе в каждый данный момент, как ось жизни, как пламя души, ту мечту, о которой я говорил, которую прославлял на словах.

Неужели вы думаете, что мне не больно признаться в слабости, в притворстве всей моей жизни?

И все же это так: к чему еще морочить себя и других.

Сколько раз, вместо того, чтобы сидеть запершись у себя в комнате, один со своими мыслями, я поддавался мгновенному желанию развлечься и выходил на улицу, останавливался у витрин, рассматривал зажженные над моей головой огни, садился в мчавшийся со звоном трамвай, заходил в кафе и разглядывал картинки какого-нибудь наимещанейшего журнальчика; разыскивал друзей, вел с ними, не помню какие, злые и насмешливые глупейшие разговоры; делал визиты, пил кофе из золоченых чашечек, болтал с барышнями-иностранками или с ласковыми старыми дамами.

И слишком часто я бросал недоконченную страницу на трудном месте, чтобы растянуться на диване и почитать какую-нибудь книжку, которая дала бы мне иллюзию, будто она мыслит вместо меня; я даже принимался читать газетные анекдоты. Леня, сладкая, ядовитая леня, с ее сотней обличков и сотней улыбок, увлекала, соблазняла, развращала меня почти всегда. Это она отрывала меня от работы под предлогом холода, сна, недостатка бумаги или перьев; она отсрочила и на долгие годы задержала радикальное излечение моей души, все мои окончательные решения. К тому же я давал себя побеждать телу, чувственности: я слишком много ел, — столько, что потом в течение многих часов не мог работать; я столько пил, что приходил в состояние приятного опьянения, когда ничто не кажется серьезным, все кажется легким, веселым, далеким; и я потерял множество часов, вечеров и ночей с женщинами, в их объятиях, охваченный блаженством и жаром.



Иногда же боязнь показаться смешным удерживала меня на пол-пути, когда я был близок к компромиссу с миром тела и кошелька; уважение людей и буржуазная казуистика делали меня робким, неуверенным, мягким и забывчивым; а корысть, нужда в деньгах обращали мои слабые силы в другую сторону, смущали мой ум, принуждали ко лжи, к отступлениям, к компромиссам. Мало-по-малу прекрасные часы вдохновения покинули меня; новые заботы заняли всю мою душу; лень заткнула мне уши ватой, чтобы я не слышал призывов и упреков; более низкие радости и более посредственные цели поддерживали меня в том состоянии тревожной и ленивой сонливости, враждебной всякому труду, в котором я все еще обещал что-то на словах, но в котором растаяла великая суровая душа, хоть изредка да проглядывавшая реньше; а от пламени прежнего времени остались лишь немногие уголья, едва красневшие временами под серым пеплом.

Так мало-по-малу я открыто признал свое бессилие, бросил божественные планы и героические клятвы, чтобы с грустной серьезностью рассказать о поражении своей души. Я виню только самого себя и надеюсь, что за мою откровенность мне простится какой-нибудь прошлый грех.

### ПОЗОРНЫЕ ДНИ

Иногда я думаю, что я один из самых лицемерных лентяев в Италии. Я сплю десять часов напролет, ни разу не просыпаясь, ни о чем не

грезя. Просыпаюсь я с тяжелой головой и дурным вкусом во рту; чтобы ничего не делать, я выхожу из дому; домой возвращаюсь отдохнуть; ем жадно, как юноша, который целую ночь онанирует; выпиваю маленькими глотками большую чашку кофе; выкуриваю пяток или десяток папирос; растягиваюсь в кресле, положи ноги на другое кресло; прочитываю, как инвалид на пенсии, от доски до доски газету; опять выхожу, встречаюсь с каким-нибудь знакомым скептиком, с которым фехтую глупой и горькой иронией; захожу в кафе, проглатываю чашку мучнистого шоколаду, с отвращением с'едаю три - четыре смазанных или начиненных грязными фруктовыми консервами пирожка; просматриваю кипу измятых, грязных газет и даже улыбаюсь нелепо раскрашенным карикатурам; выхожу на улицу, на свет больших театральных электрических ламп; преследую набеленную и наруганную проститутку, словно бы это была моя первая любовь; захожу в книжную лавку и покупаю за несколько сольдо неразрезанные книги, которых я никогда не прочту; останавливаюсь у колбасных и с жадностью разглядываю жирные сыры и коробки сардин; иду к знакомому, где меня угощают чаем, выпиваю четыре чашки его, в надежде, что у меня явится от него вдохновение; или же, если есть желание и даже если желания нет, так просто, чтобы убить минуты и часы, чтобы не думать о том, что я должен был бы делать и чего я не делаю, чтобы отупеть, унижить себя, чтобы укачать угрызения совести, чтобы заглушить сознание, — захожу в публичный дом... Иногда, когда иначе нельзя, я пишу письмо или десять писем, чтобы иметь право больше о них



не думать, чтобы отвязаться от всех; а когда вечерами меня переполняет слишком сильная, неутешная грусть, я схватываю большое черное перо и пишу, что диктует моя душа; я яростно заполняю десять, двадцать, сорок белых страниц своими излияниями, своим раскаянием, своими уточненными и остроумными нелепостями,

Чего вы можете ожидать от человека, который делит жизнь между сном и кафе, между столом и постелью, ленивого и сонного, годного лишь на то, чтобы быть трубачом, но трусливо убегающего в день настоящей битвы? А поднявшись с теплых простынь или мягких кресел, я кричу, как орел, о том, что дух мой оскорблен и строю планы одинокой, суровой, гордой, благородной Микель-Анджеловской жизни для своих ближних.

Не могу сказать, чтобы я не чувствовал низости этой двойственной жизни. Я чувствую ее и тем более сильно, чем более погружаюсь и окунаюсь в нее, чем более стремлюсь заглушить стыд. Я несколько утешаюсь своим признанием, но отразив в зеркале взволнованных слов свое темное изображение человека, изменившего самому себе, чтобы все увидели его и плюнули на него, я считаю себя прощенным и спасенным и подымаюсь с победоносным видом, словно бы несчастное самобичевание очистило и преобразило меня. А на следующий день я начинаю с начала: рано ложусь спать, сплю десять часов, не просыпаясь, не грезя, встаю с пустой головой и горечью во рту и до самого вечера живу той жизнью, о которой, трепеща, исповедывался накануне. А когда становится невмоготу, я снова, увы, конвульсивно набрасываю слова на бумагу и воспеваю

в стихах бесконечного размера ужас быть героическим аскетом, видеть человеческую жизнь божественными глазами. И я так отвратителен, что мне не приходится даже в голову подбавить мышьяку в мой жидкий, сильно подсахаренный чай.

### ЧЕГО ВАМ ОТ МЕНЯ НУЖНО?

И все же все ищут знакомства со мною, все хотя бы со мной говорить, все справляются обо мне у меня и у других. Один меня спрашивает, как я поживаю, поправился ли я, приобрел ли аппетит, хожу ли гулять; другой справляется, работаю ли я, закончил ли я такую-то книгу, думаю ли начать писать что-нибудь новое. Худошавая немецкая обезьяна желает переводить мои произведения; бледная русская девушка хочет, чтоб я рассказал ей свою жизнь; дама-американка непременно хочет знать мои последние новости; господин из Америки посылает за мной карету, чтобы я приехал к нему обедать и исповедываться; мой школьный товарищ, с которым я десять лет назад иногда болтал, хочет, чтобы я читал ему постепенно все, что пишу; приятель-художник требует, чтобы я неподвижно просиживал перед ним целые часы, пока он будет писать мой портрет; журналист желает знать, где я живу; приятель-мистик — в каком настроении моя душа; приятель-практик — в каком состоянии мой бумажник; председатель общества требует, чтобы я произнес речь; дама-спиритичка просит, чтобы я почаще приходил к ней пить чай, так как она хочет знать мое мнение



об Иисусе Христе и недавно приехавшем хироманте...

Но во что я превратился, чорт возьми! Какое право вы имеете вмешиваться в мою жизнь, красть мое время, рыться в моей душе, высасывать мои мысли, требовать, чтобы я стал вашим товарищем, вашим поверенным, вашим информатором? За кого вы меня приняли? Разве я наемный актер, чтобы каждый вечер разыгрывать перед вашими достойными пощечины рожами, комедию ума? Разве я продажный, купленный раб, который должен раскланиваться перед капризами бездельников и предлагать в знак уважения все, что знает и умеет? Или я проститутка из дома терпимости, обязанная раздеваться при первом знаке прилично одетого мужчины?

Я человек, который хотел бы прожить героическую жизнь и сделать мир более переносимым. Если в минуты слабости или нужды я посылаю в мир дозу негодования, охлажденного словами, дозу мечты, закутанной в образы, примите или выбросьте — но оставьте меня в покое.

Я свободный человек, мне нужно быть свободным, мне нужно быть одному, я должен наедине с собой переварить все свои печали и свой позор, я хочу один насладиться солнцем и камнями моей улицы, без общества и без разговоров, лицом к лицу с самим собою, с одной музыкой моего сердца. Чего вам от меня нужно? То, что я хочу сказать, я говорю через печать, что хочу дать, то даю. Мне тошно от вашего любопытства, ваши комплименты меня унижают; ваш чай меня отравляет. Я ничего никому не должен и платить по счету обязан был бы богу, если бы он суще-

ствовал. Но его нет, а до вас мне нет никакого дела.

## СЛАВА

А если бы даже мне и удалось бросить в лицо всем вам — презиравшим, осмеивавшим, мучившим, преследовавшим меня, игнорировавшим дело, о котором я мечтал, — великое произведение, которое заставило бы проливать слезы ваши сухие глаза скупцов; если бы это произведение и закрыло ваши неприлично шумливые рты, если бы заставило дрогнуть спокойное сердечко, которое забыто вами под жилетом, если бы, одним словом, мне удалось смутить вас, покорить, победить могучей молниеносной силой своего гения, что бы вы мне дали, что вы могли бы мне дать, чем вы могли бы меня вознаградить?

История всех человеческих страданий кишит вашей признательностью. Прекрасная, чорт возьми, вещь, ваша слава!

Как! Я отдал лучшую часть самого себя, живой кусок своей плоти, лучшую свою кровь, самую ревнивую тайну моей жизни, а вы не находите ничего лучшего, чем это? Неужели вы не можете придумать ничего другого. чем писать обо мне в газетах, не понимая меня; надоедать мне посещениями и письмами; указывать на меня пальцем, когда я выхожу подышать воздухом или сижу в кафе или театре; заставлять меня продолжать писать, даже когда я этого не хочу, когда я могу только повторяться; со всех сторон приставать ко мне с просьбами о письмах, интервью, автографах



и статьях; подсматривать и рассказывать, куда я иду, с кем, что делаю; совать мое некрасивое лицо в журналы, книги и открытки; а когда я, наконец, умру, рыться в моих бумагах, выставить на площади все тайны моей жизни, вытащить на свет божий все мои последние тряпки и, наконец, поставить плохое изображение моей фигуры, из мрамора или бронзы, посреди какого-нибудь рынка?

Правда, тщеславие сильно даже в великих мира сего. Но разве нет уж на свете людей с чуткой душой? Разве нет душ, чувствующих себя исключительно и чисто духовными, чувствующих себя оскорбленными и запачканными этим ханжеским поклонением? Если есть во мне что-нибудь ценное, то это моя душа: почему же вы воспроизводите и хотите обессмертить мое тело? Если я велик, то потому, что имел силы оставаться одиноким: почему же вы теснитесь вокруг меня, мешаєте мне своим дыханием и своими взглядами диких зверей? Если мой пример на что-нибудь служит, то на то, чтобы доказать, что нужно присоединять к природе природу, жизнь к жизни, дух к духу, а не обглаживать, пережевывать и вновь разжевывать то, что сделали другие: почему же вы так трудитесь раз'яснять то, что сказал я, вместо того, чтобы зажечь собственную душу, превзойти и уничтожить меня новыми творениями?

Если я хорошо сказал то, что сказал, к чему же вы пересказываете это хуже? Если другие не понимают моих слов, то стоит ли им их раз'яснять?

И раз'яснит их им кто-нибудь именно так, как запечатлел их я в пенившиеся вдохновением вечера?

Эти жалобы, конечно, смешны, особенно в моих устах. К чему искать награды во вне, когда она внутри тебя? Если твоего творчества, жизни рожденных тобою людей, полноты созданных тобою образов, если всего этого недостаточно, чтобы сделать тебя довольным и веселым, то чего ты ждешь от людей? Смогут ли они, маленькие, посредственные, холодные, дать тебе то, чего не дал тебе твой гений? Твори, не думая о них, бросай свои творения в среду людей, чтобы утешить или утешить их, а там, продолжай творить до тех пор, пока у тебя хватит сил. Разве ты каменщик, ожидающий каждую субботу, после недельного труда, своего жалованья? Дом твой не из камня и извести, а из слов и крови, и ни славой, ни деньгами за них заплатить нельзя.

Ни славой, ни деньгами нельзя; зато можно тихим страданием, можно молчаливой славой. О, если бы я действительно мог очутиться среди тех, — пусть их будет только трое, семеро или десятеро, — что читают всей душой, а не одними глазами, что живут с писателем, любят его, как брата, даже никогда не видав его; что мечтают о нем, говорят о нем между собою во время грустных воскресных прогулок, питаются его мыслями, опьяняются его поэзией, дрожат за его судьбу и ждут каждого его слова, как пророки ожидали божьего откровения, — о, тогда я действительно был бы счастлив, тогда я чувствовал бы себя вознагражденным за прошлое молчание, за теперешний нелепый шум. О, если бы я мог прижать тебя к груди, бледный, печальный юноша, неутешный и влюбленный, первый и единственный читатель, которому я, единственный и первый, открыл го-



речь величия и лихорадочное наслаждение поэзией! Одна твоя улыбка, один сильный удар твоего сердца, один твой широкий и счастливый взгляд, одна твоя взволнованная мечта были бы для меня более сладкими и существенными подарками, чем вся попугайная болтовня и все венки из золоченых листьев. Не рукоплескания, не шум, не открытые рты и вынужденные похвалы да завистливое поклонение! Нет, нет: пусть будет далек от меня весь этот шум; оставьте его для своих певцов, для своих танцовщиц, для своих жирных теноров! Отдайте желуди свиньям, если у вас нет драгоценных камней для героев.

#### А ЕСЛИ БЫ ДАЖЕ...

А если бы я даже и добился могущества? Если бы сделался чем-то в роде земного полубога, господина неба и земли, победителя материи и смерти, повелителя людей и духов? Что бы я сделал со своим могуществом? Как использовал бы это свое всемирное господство?

Пока шло мистическое послушничество, предшествующее покорению мира, о котором я мечтал, я никогда не задумывался над тем, что будет потом. Я добивался этого орудия, не зная, для какой цели использую его. Я хотел быть богом, не зная, каково будет мое творчество, мои законы. Мир уже был создан, а законы его были таковы, что все распалось и разрушилось бы при первом моем прикосновении. Что же тогда?

Мочь все — абсолютно все. Что делать? Нельзя действовать, не избрав деятельности. Но на какой из бесконечных возможностей моих желаний мог я остановиться? Чтобы выбрать, нужно что-нибудь предпочитать; любить одно больше, другое меньше; иметь в виду какую-нибудь определенную цель, лелеять в сердце веру в идеал. Тогда я мог бы разрушить то, что презирал, и провозгласить то, что любил; направить течение вещей к своей цели; вылепить из послушной грязи конкретного свой идеал.

Но у меня не было ничего этого: ни любви, ни целей, ни идеалов. Единственной моей любовью была любовь к могуществу; единственной целью — могущество; высшим идеалом — могущество. А после могущества? Я был пуст, я чувствовал себя ужасающе пустым, как лужа, которая потому только кажется глубокой пропастью, что отражает глубокую даль небес.

Что делать? Ответ труден даже для человека, едва едва выше обычного, со всех сторон огороженного невозможностями и бессилием. Он знает, что от такого-то пути должен отказаться; что остающаяся дорога короче и вернее. Но для того, кто не окружен стенами и заборами ни с какой стороны, кто теоретически свободен, теоретически всемогущ, вопрос „что делать“ в тысячу раз более проблематичен и грозен.

Что делать? Для применения моего могущества все одинаково годится. Для того, кто находится так высоко, что человеческие потребности, интересы, истины и любовь более для него не существуют, все находится в одной плоскости. Для него все равно, уничтожить ли народ, создать ли



новую расу. Дать счастье бедному или швырнуть в ужасы зла наслаждающегося жизнью — для такой высоты одно и то же. Справедливое и несправедливое, верхи и низы не имеют более значения. Едва вы поднимаетесь над уровнем человечества, как все его ценности смешиваются и исчезают. Все человеческие чувства движимы бессилием; едва ты завоевываешь полное могущество, как ты расчеловечиваешься, осверхчеловечиваешься и становишься бесчувственным, мертвым; нет у тебя больше энергии, нет воли, нет направления. Все равноценно: птичье гнездо и город, песчинка и полуостров, глупец и гений — одинаково незначительны и смешны. Какое мне дело до той или иной части реальности, когда все мое, все к коим услугам, все ждет моих приказаний.

Большая часть удовольствия, испытываемого, когда нам удается что-нибудь сделать, зависит от усилия, которого нам стоило это дело. „Какой я умный! Какой сильный! Другой не смог бы добиться того, что я“. И добытый ценой тяжелых трудов предмет, будь это ничтожная чепуха — женщина, дом, лоскуток славы — кажется нам чрезвычайно драгоценным, сладкой наградой за труды. Но когда делать не стоит никакого труда, когда достаточно желания, намек на повеление, легкого движения век, чтобы вызвать немедленное и неограниченное повиновение всех предметов, в чем радость, в чем победа?

Может быть, думаю я, для меня было бы большим счастьем то, что мне не удалось насладиться в таком материальном слепом смысле, как я предполагал. Я был бы еще несчастнее, чем сейчас. И, может быть, с меня было бы достаточно знать,

что я мог бы сделать все — и ничего не стал делать. Я остался бы неподвижным навсегда — бессильным от большой силы. И я страшно мечтал бы о возвращении тревожных прошлых дней, когда я чего-то желал, к чему-то стремился.

А не являются ли все эти разговоры лишь утешением в великой неудаче? О, негодный Адам, изгнанный до того, как ты переступил через ограду: почему ты портишь запах и вкус плодов, которых ты не смог вкушать?

## Я ГЛУП

Вся моя жизнь построена на вере в то, что я гений! А если я ошибаюсь, если я только один из тех слепцов, которые воспоминания принимают за вдохновение, желания за осуществления, если я, одним словом, глупец? Что в этом странного? Разве впервые дурак воображает, что он герой, литератор думает, что он поэт, идиот наряжается в плащ великого человека? Возможно, тысячу раз возможно, что я только холодный читатель чужих книг, каждый раз согреваемый чужим очагом, заимствующий у других свой ум и принявший тихое бормотание честолюбивой души за журчание жилы, готовой разорваться и истечь, напоить землю и отразить небо. Чем более я думаю об этом, тем более мне это кажется правдоподобным, вероятным. Кто дал мне право верить в себя, в свой гений? То, что я сделал? Но ведь я первый с презрением отрекаюсь от этого! Литературное переполаскивание всех стран мира, ночные излияния она-



ниста без друзей, интеллектуальное жонглерство... Ничего больше, ничего лучшего.

Вся вера в мой гений кроется в долгом, напрасном ожидании торжествующего, увлекающего вдохновения, в моем постоянном беспокойстве, которое ничем не довольствуется, всем брезгует, кроме небесного, платонического мира, мгновениями показывающегося мне меж облаков настоящего мира; в мгновенно улетающих просветлениях; в легком лиризме, быстро мелькающих образах, тотчас же претворяющихся в красивые фразы, часто проходящие у меня в душе, когда я, ни на что не глядя, размышляю, когда прохожу по вечерам по своим мостам, между рекой и небом, усеянным дрожащими огнями.

Но что это доказывает? Недовольство часто прикрывает самую малокровную слабость. Жажда славы такое обычное явление даже для самых мелких душ! А все эти фантазерские дуновения не могут претвориться в ураганный ветер, что сметет мир и поднимет людей к ангелам и звездам; все эти несвязные впечатления, несвязные мыслишки, эти струйки, тотчас же падающие вниз, эти удачные выраженьица, которые не удастся привести в порядок, систематизовать, заставить жить общей жизнью, слиться в великое произведение жизни, в цельное, полное творение — все это ничего не стоит и ни к чему не ведет. Этого еще мало, это еще не дает право быть на „ты“ с мощными творцами, взойти на башню или на гору, чтобы плевать или осмеивать процессию надутых или самодовольных. Мгновенно вспыхивающие и угасающие искры, блуждающие огни, обманчивые фосфоресценции, затуманенные зори, далекие зарницы, — все

это не пламя, это только обещания, соблазны, самообольщение, это вечная приманка тщеславия, это истощающее утешение проклятого бесплодия, это судороги агонии при выкидыше. На это надеяться нечего. Лучше уж ничего не надо. Эти порывы слабой гениальности только мучительное, позорное клеймо посредственности, того, кто не совсем зверь, но и не высокий гений, не спокойно произрастающее растение, но и не неистово творческая душа, не глухая масса материи, но и не огненный столб, пламенеющий перед народами.

Я посредственность, жалкая посредственность, которую я ненавижу всем сердцем; я тот, кто превратится в ничто, когда остановится кровь, и в последний раз вздохнут легкие. Может быть были когда-то мгновения, когда и я был кем-то; может быть, я исчерпал весь дарованный мне гений в одну ночь, в одной партии игры, которой я не знаю. А теперь я здесь стою, как еврей, отдавший винограда из обетованной земли в день слишком поспешной уборки и оставшийся ни с чем среди пыльной пустыни, я как тот, кто повис между небом и землею, кто слишком тяжел для того, чтобы подняться к звездам, и слишком эфирен, чтобы рыться в грязи. Остатки культурности, воспоминания о поэтах, зуд мысли делают меня человеком, неспособным к прочной, практической, механической жизни, но их недостаточно, чтобы сделать меня достойным жизни духовных королей. Если бы хоть я никогда, даже издалека, ни на одно мгновение не испытывал мучительного счастья творчества! Или если бы я был врожденным и несомненным, тихим бессознательным идиотом, скромным кретином, без угрызений совести, добро-



душным глупцом без претензий. Но нет! Я знаю, что я глуп, чувствую, что я идиот, а это выдвигает меня из рядов глупцов и безнадежных самодовольных идиотов. Я настолько умен, чтобы понять, что я недостаточно умен, но не больше. Может быть с годами глупость моя усилится, и тогда я буду если не более счастлив, то более спокоен. И я надеюсь, наконец, превратиться в дерево или камень и спокойно лежать в блаженном неведении всего.

### И НЕВЕЖЕСТВЕН!

Затем, скажем откровенно всю неприятную истину: я невежествен. Я всюду рылся, все перерыл, я понюхал то, что можно было узнать, бился головой о то, чего узнать нельзя было, но я никогда ни в чем не дошел до основания. Нет той науки, того искусства, философии, в которых я чувствовал бы себя абсолютным деспотом. У меня нет специальности; у меня нет поля, хотя бы крошечного, хотя бы домашнего маленького огорода, где я бы чувствовал себя у себя, где я мог бы сверху вниз смотреть на тех, кто ко мне лезет.

Многим я кажусь одним из тех евнухов, из тех скопцов, тех амфибий, которых принято называть „образованными людьми“. Я прочел много, очень много, слишком много книг, и все же могу сказать, что не читал ничего. В мозгу у меня бесконечно много имен, целая орда названий, магазин заметок, но книг, которые я действительно знаю по содержанию, по слогу и по духу, которые я читал и перечитывал, медленно и спокойно обдумывая,

очень мало, и я стыжусь этого, хотя не я один нахожусь в жалком положении того, кто теряет время на писание на песке слов, которые ветер тут же уносит. Человек одной книги мрачен, как похороны; но человек слишком многих книг подобен стоячей канаве, к которой прилипает только самое худшее, только оболочка того, что через нее проходит. Я один из таких людей. *Mea culpa!*

Я врожденный самоучка, а самобытный человек тогда только бывает велик, когда ему удастся созреть и упрочиться. Я энциклопедист, человек словарей и учебников, а энциклопедист тогда только бывает удивителен, когда умеет связать железными кольцами основных идей ответшие, увядшие цветы фактов, скошенных по библиотекам.

Я многих могу удивить библиографией; могу поддержать приличный разговор даже со специалистами. Но через пять минут или пять дней я иссякаю: мой мех пуст. У меня много мешков, но все они не по мерке. Не хватает одного четверика, и то, что остается, не просеяно через решето.

В какую сторону я бы ни обратился, я не профан, но и не посвященный. Нет у меня признанного места в обществе ученых, нет и вывески на лбу. Я человек без места, который может занять какое угодно место, пока его не прогонят.

Вечный жид знания, я никогда не останавливался ни в одной стране; не имел постоянного жительства ни в одном городе. Преследуемый демоном любопытства, я исследовал реки и леса, не имея ни плана, ни терпения, урывками, мельком. У меня много реминисценций, но мало основ. Я подобен царю, владеющему большим царством, состоящим из географических карт.



Я все начинал и ничего не кончал. Едва найдя какую-нибудь дорогу, я тотчас сворачивал вправо или влево, потом на тропинку; оттуда же я снова выходил на новую большую дорогу.

Когда кто-нибудь удивляется моим знаниям, моей „эрудиции“, мне становится смешно. Один я знаю, сколько ужасающих пробелов в моем мозгу. Один я, желавший узнать все, знаю, как близко сходятся пределы моей учености. События древности, мертвые языки великих народов, наука света, движения, жизни для меня закрыта. Я знаю словарь и некоторые параграфы, имею общие представления, но не умею твердо стоять на ногах. Я невежествен, безмерно, неизлечимо невежествен. И хуже всего то, что невежество мое не есть чистое, естественное невежество человека лесов и полей, с которыми соединена свежесть, покой и даже некоторая ловкость. Нет: я невежда, выросший среди книг, я библиотечный осел, я тот, кто столько учился, что потерял естественность, не приобретает учености.

А я еще имел смелость хотеть поучать людей, быть учителем, направлять других. Я писал книги с примечаниями и библиографией; я критиковал чужие книги; я производил впечатление человека, владеющего своими аргументами и знающего свои темы. Я приобрел некоторую репутацию ученого, работника, исследователя. Каково же должно быть невежество других, чтобы обо мне были такого мнения! Один я могу сказать, как неосновательна и ложна эта слава, которую многие ученые дешево приобретают из-за людской лени. Я же, который знаю обратную сторону своей учености, знаю, как легка и тонка ткань моей эрудиции, сколько неподго-

товленности под уверенностью, сколько робости под развязностью. Я стыжусь самого себя и других, чувствую потребность громко исповедаться перед всеми, кто меня захочет слушать.

Могло ли выйти что-нибудь из человека, так глубоко погруженного в невежество? Знать—значит мочь; чему же удивляться, если мое могущество осталось лишь мучительным воспоминанием, угрызением совести в сорной яме мертвых желаний? И кого могу я винить в этой неизбежной неудаче?

Да себя, только одного себя! Если бы я был более слабым (чтобы не мечтать) или более сильным (чтобы победить), я не унижался бы теперь перед теми, кого я презираю.

## Я НЕ ЗНАЮ ЛЮДЕЙ

Невежество мое относится не только к предметам, а и к людям.

Какова была великая цель моей жизни? Влиять на людской род, глубоко преобразовать его, привести его от зверя к человеку, а от человека к богу, открыть новую эпоху в истории мира, определить мистическую эру человечества. Но, чтобы влиять на людей, нужно их знать; чтобы преобразовать их души, нужно суметь в них проникнуть, нужно окутать их симпатией и любовью. Без непосредственного каждодневного общения со всеми, с горожанами и с крестьянами, с ребятами в школах и рабочими на фабриках, с женщинами, что питают надежды, и с теми, что страдают, с великими сей земли и с босоногими нищими—нет возможности



найти то слово, что вырвет их из жизни, которой они живут, и насильственно толкнет к лучшему. Кто только хочет найти путь к их сердцу, открыть пружину их поступков, должен прежде узнать их самые тайные мысли, их самые важные потребности, их самые скрытые желания. Есть человек философский, которого психология может представить нам на трехстах страницах книги или в тридцати словах определения; есть человек внешности, весь в наружности, прихорашивающийся сам для других, чтобы показать себя в лучшем свете перед товарищами; его можно узнать в несколько минут, описать несколькими штрихами. Но настоящий человек, реальный человек не похож ни на симметрическую куклу философов, ни на переодетые наших знакомых. Апостол, пророк, мессия должен знать человека, скрывающегося под данным словом, под данным гримом; должен знать не человека, а людей — этого человека, другого человека, тысячу людей, каждого в отдельности, с их внутренней душевной и умственной физиономией.

Я не знал их и неизбежно должен был потерпеть неудачу. Нельзя заставить слушать тех, которых вы не хотели выслушать. Я был для них чужестранцем, а они не понимают языка чужестранцев. Они не могут любить того, кто не сгорает от любви к ним. Человечество подобно женщине, которую трогают только те, кто ее любит, или те, кого она боится.

А потому и я сделал попытку узнать людей; я пытался вмешиваться в их толпу, брать их за руку, слушать их речи, выслушивать их невольные признания.

Я хотел испытать все: я входил в дома бедных и собирал их обвинения; я останавливался подле человека, который пахал, боронил или молотил, чтобы вникнуть в дух его труда и угадать его мысль о счастье; я следил за неизвестными на людных улицах, чтобы подсмотреть их жизнь; я близко подходил к элегантным, обходительным господам и дрожал от холода и раздражения в их нагретых салонах; я вел разговоры с лакеем и носильщиком; заставлял болтать ребят и их мамаш; посещал церкви и садился рядом с одетыми в черное ханжами, бормотавшими мадонне свои детские просьбы; я был у попов в приходских квартирах и у монахов в монастырях; познакомился со школами великих ученых и с мастерскими неведомых художников; я склонялся над гресс-бухом деловых людей и снюхивался с чиновниками; я заставлял проституток рассказывать мне свою жизнь и вдыхал жирный, вонючий воздух дешевых трактиров и второразрядных кафе, чтобы слышать разговоры тех, кого я хотел спасти.

Я пробовал сам пожить жизнью других людей; я писал письма на машине вместе с переписчиками; записывал лекции со студентами; потрошил куски трупов с медиками; жал хлеб с крестьянами; тянул за узду мулов с извозчиками; сплетничал за обедом с герцогами и маркизами; работал отвесом с каменщиками и заступом с черноработными.

И все напрасно. Я подошел к вам близко, люди, и все же я вас не люблю. Я не могу вас любить. Вы меня раздражаете, вы мне отвратительны. А не любя вас, я вас не узнал и, не узнав, не мог спасти. Я был один и весь свой



среди вас, и вы оставили меня в одиночестве. Слова мои оставляют вас немыми, а мои обещания вас не трогают. И вы хорошо делаете.

Во мне, как во всех тех, кто старался изменить вашу судьбу, заложено ужасное противоречие. Я подхожу к вам, чтобы узнать вас, а едва начинаю вас узнавать, как мне становится противно. Чтобы избавиться от этого отвращения, я должен был бы вас преобразовать, но я не могу этого сделать, ибо не знаю, как вы устроены. Это мучительный круг, который задушил и раздавил уже многих. Каждый безграничной любовью любит человечество, запершись в своем доме. Едва он выходит наружу и начинает иметь дело с Петром и Иудой, с говорящими, движущимися людьми, как любовь переходит в презрение или ненависть. И мы снова удаляемся, и снова в тиши расцветает любовь ко всем людям, даже к Петру и Иуде.

Так было и со мной. Я вас люблю, люди, как вас любят немногие. Вся моя внутренняя жизнь проникнута этой моей глубокой любовью. Я хотел бы вас видеть более великими, более счастливыми, более чистыми, более благородными, более сильными. И самой дорогой моей мечтой было стать вашим истинным, вашим величайшим спасителем.

Но любовь эта ревнивая, скрытная, странная. Едва я пытаюсь ее выразить, как слова замирают у меня на устах; едва пробую обнять вас, как она превращается в отвращение; едва дохну, как она отравляется вашим дыханием и прячется. Это чисто интимная, моя собственная любовь, любовь одинокая, эгоистическая, бессильная. Вместо того, чтобы при виде возлюбленного разгореться, она

угасает; вместо того, чтобы выразиться в любовных, сердечных словах, она принимает форму упрека и осыпает оскорблениями. Моя любовь состоит из плевков и побоев. Вы не можете ни понять, ни принять ее.

В эти моменты безжалостной искренности я не могу вас упрекать. Вина во мне: я слишком холоден, чтобы по-настоящему слиться с вами, как возлюбленный с возлюбленной. В моей улыбке вы читаете насмешку; в моем рукопожатии скрыт трепещущий кулак. Моя гуманность насильственна, и я не умел ни любить, ни бить вас в достаточной мере.

Во мне остались одни намерения и мечты, но без силы, и я должен мучиться и терзаться, не имея права просить у вас ни одного слова утешения. Я маленький Прометей, у которого в груди орел угрызения, потому что похищенным огнем он сумел обжечь только самого себя.

## ВДОХНОВЕНИЕ

О, если бы внутри меня внезапно прорвалось, как закупоренная, сильно набухшая жила, глубокое, величественное вдохновение, идеи брызнули до самого неба, как фантастические фонтаны, а образы, чувства, дорогие, решительные слова хлынули дождем, освежая мое сердце, утешая, пробуждая, трогая сердца всех людей! О, если бы душа моя внезапно вспыхнула, как несжатые поля, как хворост, как густой безводный лес, если бы мысли осветили небо, как взвившиеся



ракеты, а слова жгли, как настоящий огонь, идеи рассыпались из-под моего пера, как искры из встряхнутого дерева, объятого пламенем, и я мог, наконец, осветить и согреть души всех людей! Почему же мне, именно мне, который так просит, ждет, желает, хочет этой радости, этого счастья, этой милости, — должно быть в этом отказано?

О, если бы теперь, после стольких лет нетерпеливого ожидания и безумных призывов, я почувствовал в себе журчание потока новых слов, ощутил что меня охватила какая-то необычайная волна и, вместо того, чтобы писать старые истории, нанизывать банальные слова, с трудом полочиться по следам усталых, заплатанных мыслей, мне пришли на уста неожиданные истины, чудесные образы, краски, гармонии и страсти, которых ни один человек еще не открывал, не находил, не ощущал! Как часто ночью, при колеблющемся красном свете свечи или при спокойном белом свете затемненной лампы, я ждал наступления божественного часа! Так вечно разочарованные любовники ожидают в полночь свою красавицу, давшую им, наконец, слово. И я рвал листы, не успевая заполнить их большими черными торопливыми буквами, тер руками глаза, глупо вперял взор в какую-нибудь глупую вещь и в каком-то полусне обрисовывал профили чудовищ и суровых бородатых старцев, опять рвал листы и проклинал самого себя до тех пор, пока внезапно не вставал и, оттолкнув кресло и перо, не бросался на постель, не имея сил спать, не имея сил грезить, не имея сил забыть.

Так было сто раз, тысячу раз; ум попрежнему оставался твердым и упрямым, душа холодной и

мертвой, бумага попрежнему белой, слава далекой. Гения нет, эхо не отвечает, вдохновение не просыпается: мрак, молчание, муки.

Чего бы я не дал и не сделал, чтобы меня хоть на мгновение осенило, чтобы на меня внезапно снизошло таинственное вдохновение!

Мне все равно, кто меня вдохновит: бог или дьявол. Лишь бы только кто-нибудь более великий, более здоровый, более прозорливый, более безумный, чем я, говорил моими устами, писал моей рукой, мыслил моей мыслью.

### МОИ ДОЛГИ

Но бог не хочет говорить моими устами: я не напишу священной книги. И дьявол, который любит литературу, толкает меня в ад ужасов.

Но я боюсь, что кто-то все равно говорит моими устами. Я еще себя не знаю. Я столько копался в себе, что душа моя вся изодрана на клочки; в ней нет жизни, все ее жилы обнажены, как на анатомических рисунках, и перепутаны. Я себя не знаю. Я не узнаю своего голоса. Когда я говорю, я не знаю, исходят эти слова от меня или же от лукавого суфлера, спрятавшегося за моей спиной.

Я чувствую себя должником. Все люди должники, но очень немногие признают свои долги, а большинство не имеет намерения их платить. История человеческого духа полна опротестованных векселей. Мы, как дикари Тихого океана, едим стариков и не всегда умеем перева-



рить их. Но мы все же признаем своею рвоту, следующую за этой едой.

Я чувствую себя бесконечным должником. Я, как святой Павел, могу сказать: „я должник греков и римлян, евреев и язычников“. Я мог бы прибавить к этому еще полдюжины народов, и счет все еще не был бы кончен. Я подобен людям золотого века: не отличаю твоего от моего. Я не имел определенного намерения украсть. Плагиаты мне не нравятся; их могут себе позволить только самые бедные или самые богатые. Но я вдыхал, я поглощал, жевал, переваривал все, что мне попадалось, и теперь я не в силах произвести раздел имущества, Я весь пропитан чужими теориями, начинен книгами, пресыщен статьями, напичкан словами и образами. Я детище культуры и других людей, тогда как хотел бы быть гением и самим собою.

Эта неопределенность меня гложет; я хотел бы знать, что же я такое в действительности, какова моя личная доля во всем том, что я сделал. Обокравши людей, я хотел бы их одарить; я хотел бы прибавить кое-что к той культуре, которая меня питала. Я хотел бы обрести самого себя: произвести учет кассы и уйти со своим багажом, хотя бы он весил одну только унцию. Я ставлю свое имя на заглавном листе моих книг; но я хотел бы знать, что действительно принадлежит мне, а что я взял напрокат. Мне кажется, я так слился с другими, что не могу больше разобрать, где мои собственные члены. Я пою в хоре и не в силах расслышать тембр своего голоса.

Мне противно это. Эта общность владения раздражает меня; это подозрение в мошенничестве

смущает меня. Я не хочу быть ничьим должником. Я охотно отказался бы от того, чтобы быть признательным своим кредиторам. Я хочу быть собою; только собою, независимым, свободным, без всяких связей, единственным и законным собственником себя и своих вещей. Робинзоном без острова.

А вместо того, каждый раз, когда я перечитываю то, что пишу, я боюсь очутиться в чужом доме. Это слово я мог позаимствовать у такого античного писателя; этот образ может напомнить другой; эта идея, может быть, переделка или продолжение чужой теории; этот тип мог мне быть подсказан прочитанным романом, живым лицом; этот оттенок я мог почерпнуть в разговоре с приятелями. Тени прошлого и настоящего толпятся вокруг меня, и я хотел бы швырнуть каждому в лицо его собственность со всеми процентами. Другие не столь щепетильны, я им завидую.

Я хотел бы не заимствовать даже у реальности; я хотел бы быть как паук, который все нити своей пряжи вытягивает из собственного нутра. Пчела мне ненавистна, и ее мед отдает краденым. Я хотел бы быть своим собственным должником и только своим собственным. Ни лики небес, ни лица людей, ни деревья в лесу, ни дома в городе не должны мне ничего дарить. Я не могу без них обойтись, и все же мне неприятно находить их в себе, в своих писаниях. Мне кажется, что без этого неба, этого лица, этого дерева, этого дома я не способен был бы сказать что-нибудь, и это меня огорчает. Я желал бы создать пустоту вокруг своего духа, чтобы увидеть, на что он способен, когда предоставлен самому себе. Мне скажут: это



желание смешно, нелепо, неосуществимо; благодарю покорно! Но я не мог не ощущать его; я антидолжник *par excellence*, до безумия.

Но есть нечто еще худшее. Временами у меня является страх, что я обязан всем своим талантом причинам, стоящим вне меня, и к тому же причинам физическим. Когда я думаю, что после двух чашек кофе ум мой проясняется; что, опорожнив чайник чаю, я начинаю мыслить более связно; что становлюсь более оживленным пародоксальным после стакана шампанского; что чувствую себя более благородным на высоте тысячи метров; что музыка в кафе, веселый военный марш или один темп симфонии делает меня более поэтичным, вызывает во мне мысли, образы и периоды, которых я не мог бы родить в тиши, — душу мне наполняет глупый стыд, и у меня является жестокое подозрение, что я не что иное, как мозговая машина, которая возвращает то, что в нее кладут, которая нуждается в топливе для работы; что это не я мыслю, не я грежу, а за меня мыслят и грезят кофе, чай, вино, кислород. Может быть это и глупый страх; есть люди пьющие и слушающие то же, что и я, и не делающие даже того, что делаю я. Но это неважно. Этот черный или светлый предмет, который я ввожу в свое тело, оказывает на меня влияние: если бы я его не принимал, я не мыслил бы известным образом. Эти физически чуждые мне вещества — часть моего вдохновения, мои сотрудники по творчеству, — и это меня приводит в гнев и раздражение. Достаточно неприятно быть должником Шекспира, но быть обязанным чем-то смеси Порторико и Сандо-минго или цейлонскому чаю — слишком унижительно.

Не знаю, многие ли испытывают эти проклятые муки неумения найти самого себя. Греки со своим „*γνώσι σαυτοῦ*“ и Ибсен со своим „будь самим собою“ невероятно раздражают меня. Как же я могу познать самого себя, если не умею найти себя в этой массе человечества, со всех сторон сжимающей, поглощающей меня? И как я смогу быть самим собою, если я не знаю самого себя, не знаю, где неделимый центр, где последний остаток моей личности?

Я не ищу человека, не ищу человека: я ищу самого себя, только самого себя. И я не знаю, кто я, где я, что я в действительности думаю. И с этим я, запеленутым, одетым и вскормленным другими, я принужден жить всю жизнь, как незнакомый. И это, хотя не одно это, — одна из мук моей стардальческой жизни.

## ШУТ

Прежде чем умереть, как заброшенный кот, от голода и холода, я испробую все профессии. Я буду с мешком на спине собирать на улице тряпки. Буду просить Христа ради копеечку подле церквей и кафе; я сделаюсь сторожем общественных уборных; буду ходить по площади с танцующими медведями и, если у меня не будет другого исхода, сделаюсь писцом у адвоката; но есть ремесло, за которое я ни за что, никогда не возьмусь, даже если меня будут принуждать к этому с пистолетом у горла.

Это ремесло писателя-шута, писателя, пишущего для забавы людей, для развлечения скучаю-



щих и бродяжничающих; подлое ремесло человека, который с января до января придумывает истории, фабрикует завязки, ищет приключений, освежает воспоминания, пишет романы, импровизирует новеллы и ставит комедии, чтобы принудить смеяться, плакать, чтобы растрогать тех, кто ему платит и рукоплещет.

Напрасно эти общественные шуты говорят о красоте, притворяются, что презирают толпу, и получают плату за свои забавы вечером, в темноте, под плащом. Хотят или не хотят они этого, а они льстецы царицы-толпы, желающей позабыть некрасивую обыденность жизни; шуты на жалованьи у народа; менестрели мещан, у которых в перерыве между папироской и прогулкой явится желание почитать. Тот, кто продает свой вымысел, слуга того, кто скушает и имеет деньги, нечто в роде сводника, предлагающего чужую вымышленную жизнь тому, у кого недостаточно жизни внутри себя. Какая разница в результатах между сигарой и рассказом? Между драмой и бутылкой вина? Куря и читая, убиваешь тоску ожидания; слушая комедию и опьяняясь вином, вступаешь в другой мир, грезишь и видишь то, чего не существует.

Разница есть: в искусстве. И я согласен с вами: можно и таким путем сказать прекраснейшие вещи, можно творить произведения, которые надолго останутся в сердцах людей. Но в общем во всех этих вещах всегда есть та мысль, что прежде всего надо рассеять людей, разведелить их, что следует рассказывать им сказки, чтобы они не уснули, чтобы чаще дышали, чтобы легче было добраться до их души и,

между прочим, дать понять и какую-нибудь великую истину.

Но зачем я буду нравиться людям? Не хочу я быть ничьим шутом! И я утверждаю, что все писатели романов, историй, рассказов, комедий и драм — шуты, живущие для того, чтобы щекотать воображение людей, как музыканты ласкают их слух, а женщины их тела.

Почти все люди — дети, даже в шестьдесят лет, и нуждаются в забавах; им нужны выдумки и приключения, им нужно живописное и патетическое. Писатели, если даже сами они и не совсем дети, ползают на четвереньках и играют в лошадки, чтобы доставить людям удовольствие. Мне жаль, что среди них встречаются люди, как Гомер, как Сервантес, Шекспир, Достоевский, которых я сильно люблю. И они шуты, как все остальные. Что поделаешь! Когда я читаю их и испытываю удовольствие, я тоже глупый мальчик, которому все еще нужны мамины сказки.

Я замечаю, что я брюзга, скучный пуританин. Кто бы мог подумать, что те, кто освещал наше детство, кто сопровождал нас живыми образами в печальные, сладострастные вечера юности и молодости, только шуты? Я сам, когда не охвачен темным бешенством, заставляющим меня изрыгать оскорбления и приговоры, сомневаюсь в своих словах и даже начинаю считать себя несправедливым, сумасшедшим, злым. Но нет. Подумайте о значении слова шут: человек, который развлекает людей. Как развлекает? Часто, заставляя смеяться над чужим горем или во всяком случае пользуясь горем и страданием не для того, чтобы возбудить сострадание и ужас, а чтобы поддерживать любо-



пытство. Трогательный случай с двумя возлюбленными, умершими, не насладившись любовью, есть средство, чтобы зевнуть на десять раз меньше в час; отчаяние матери, измена жены, жестокосердие мстителя, печаль разочарованного, великодушное безумие экзальтированного, дурной конец невинного,—нет такой вещи в мире, которой бы профессиональный рассказчик не использовал и не присвоил себе, чтобы представить ее потом баричам и барышням, не имеющим достаточных возможностей в действительной жизни, папашам и мамашам, которые охотно посмеются над Дон-Кихотом и прольют слезы над несчастьями короля Лира. Все их искусство, как бы велико оно ни было, имеет целью глубоко заинтересовать праздных читателей или зрителей, чтобы заставить их действительно позабыть их маленькую, грязную, унизительную личную собственную жизнь. Можно понимать слово „шут“ в самом благородном, в самом великом, самом героическом смысле слова, но позвольте мне назвать так всех тех, кто пишет за вознаграждение — будь это лавровая ветвь, пышный эпиграф, рукоплескания или десять тысяч наличными,—имея в виду доставить людям приятное времяпрепровождение.

Неужели вам кажется, что такова должна быть деятельность людей, сознающих свое место в этом таинственном, очаровательном мире? Неужели вам кажется, что немногие, видящие на четыре пяди дальше, чем эти звериные детеныши, и знающие, какой конец нас ожидает, если мы не сумеем смело победить судьбу, создав перед угрозой полного ничтожества более чистую жизнь, неужели, говорю я, они должны поощрять глупое ребяче-

ство людей, держать их неподвижными перед бумажным театром и заставлять слушать воображаемые перипетии воображаемых персонажей?

И все это неуместное волнение, вся эта затрата гениальности служит только к тому, чтобы развлечь и усыпить их, тогда как куда прекраснее и смелее было бы пробудить их своим криком, поставить их лицом к лицу с мраком, заставить их ринуться головой в пропасть и таким путем принудить их подняться, обнажиться, пусть больше страдать, зато подняться перед лицом мира, который сейчас едва их выносит.

Да что за сказки, что за легенды, что за трагедии! Кому скучно, пусть играет в дурачки или бросится в море! И пусть гений растрачивается не на то, чтобы доставлять занятое чтение бездельникам, чтобы придать жизнь тому, кто жил в прошлом или совсем не жил, а на то, чтобы возвестить о новой жизни, о лучшей жизни, чтобы создать землю, знающую одни лишь страдания духа и носящую на себе людей, которые бы стремились не забыть, а помнить и обещать.

### КАПЛЮ УВЕРЕННОСТИ

Я не прошу ни хлеба, ни славы, ни сострадания. Я не прошу ни обаяний у женщины, ни денег у банкиров, ни похвал у мудрецов. Я обхожусь без всех этих вещей или же добываю или краду их сам. Но я требую и прошу униженно, на коленях, всей силой и страстью своей души — небольшой доли уверенности; одной какой-нибудь



маленькой, но твердой веры, одного атома истины! Я прошу, я умоляю вас во имя всего, что вам дорого и драгоценно, во имя вашей жизни, во имя вашей сегодняшней возлюбленной, во имя вашей излюбленной идеи, скажите мне, есть ли среди вас тот, кто обладает тем, что я ищу, есть ли кто-нибудь, кто уверен, кто знает, кто живет и движется в истинном. И если он есть, если он не ошибается и не обманывается, если он столь же великодушен, сколь счастлив, пусть он сообщит мне, что знает, пусть откроется, пусть поклянется мне, пусть заставит меня заплатить сколько угодно, как угодно за свою правду.

Мне нужно иметь хоть немного уверенности — мне нужно что-нибудь истинное. Я не могу обойтись без этого; без этого я не могу больше жить. Я не прошу ничего другого, не прошу ничего больше, но я прошу многого, необыкновенного, я это знаю. И все же я непременно хочу этого, мне во что бы то ни стало должно быть это дано, если кому-нибудь на свете дорога моя жизнь.

Я искал только этого. С самого детства я жил только для этого. Я стучался во все двери, я заглядывал во все глаза, я прислушивался ко всем устам, я затрагивал тысячи, десятки тысяч сердец — напрасно. И напрасно я так ринулся в жизнь, что тонул, что меня тошнило, и напрасно, совсем напрасно я испортил себе глаза над старыми и новейшими книгами и забил себе голову воплями соперничавших между собою философов, напрасно, совершенно напрасно я вызывал внутренние отзвуки и смиренно подготовлял пути к откровению. Ничто не пришло, никто не ответил.

Никто не ответил так, чтобы погасить всякое желание и потребность продолжать спрашивать; не пришло ничто, что бы успокоило слишком нетерпеливое сердце и насытило мою, просторную как пустыня, душу. Но попытки, доказательства и усилия не остались напрасными: много преград пало, много стен было разрушено, некоторые мало-помалу, как рассыпающийся песок, другие с грохотом, словно новая земля рождалась из старой. Но за каждой преградой была пустота; за каждой стеной была мгла, а эхо было такое странное, что на каждое да надежды оно отвечало бесконечно усталым нет.

Никто не скажет, что у меня не было смелости. До сих пор помню длинные, ясные, бессонные ночи на открытом воздухе, с иллюзией бесконечности в душе, под этим небом, под этими звездами, наполняющими тебя святостью и очищающими твою мысль от звериных красок дня... Я склонялся над стеклом микроскопа: и что я видел? То, что ежедневно видел невооруженным глазом: маленькие существа в маленьком мирке поглощали друг друга.

Пришли и люди веры, и те, кто должен был хранить веру. И все их речи не смогли вселить в меня веру, которая была в их словах, и там, где были их слова, не было фактов; а где были слова, мой проклятый ум замечал обманы, гордость, иллюзии, невежество, притворство, выгоды, расчет и все то, что превращает бога в слугу человека.

Мне не везло и с философами: лучшие были стилисты, которые так долго точили свои серпы, что хлеб засыхал и падал на землю несжатым; другие были непристроенные в мире поэты, неми-



лосердые одержимые, днем и ночью рисовавшие для воображаемых небесных городов, в которых никто не может жить, длинные, высокие и пышные фасады, за которыми не было комнат.

И ни с какой стороны никакой правды. Мне нужны были истины, что, как божественные молнии, заставляют падать ниц и неугасимым огнем освещают все вне и внутри нас. И ниоткуда никакой уверенности! Во всякой вещи я видел прямую и обратную стороны, и обратную сторону прямой, и прямую обратной; все идеи были, словно лампы призм, четырехликие гермы и сфинксы с тысячами ответов на десять вопросов. Никто не может сказать ни о чем: „это так, а не иначе“. Ни на одну проблему нельзя ответить одним только образом. Каждый человек, который говорит, имеет на то свои причины, и тот, кто возражает ему, также имеет свои; и имеет свои основания также тот, кто возражает первому, и второму, и возможному четвертому. Каждый раз нам приходится соглашаться; и безумец имеет свои аргументы, и их следует благоразумно выслушать.

Я скептик? Нет, к сожалению. Даже не скептик... Скептик счастливее: у него остается одна вера—вера в невозможность уверенности.

Он может быть спокоен и, если ему угодно, догматичен. А я нет. Я не верю даже в тщетность исканий, я неуверен даже в несуществовании верности. В числе возможных вещей может быть и эта: что истина существует и кто-нибудь ею владеет.

Какое значение имеет то, что я ее не нашел, что я не владею ею? Я больше не хочу так жить: терзаться в сомнениях и отрицании, в муках

все усиливающегося желания, вечно быть придавленным нескончаемым поражением. Хочу, чтобы кто-нибудь мне помог, чтобы тот, кто успокоился, дал немного успокоиться и мне.

Но не словами. Э, нет!— не обманом, не глупостями, не детскими надеждами или бабьей болтовней!

Я хочу прочной уверенности, хотя бы одной! Хочу ненарушимой веры, хотя бы одной! Хочу истинной правды, хотя бы маленькой, хотя бы жалкой—одной! Но такой истины, которая бы дала мне возможность коснуться самой скрытой сущности мира, последней, самой основной его опоры; истины, которая сама бы внедрялась в мозги и не позволяла мыслить того, что ей противоречит; одним словом, такой истины, которая была бы знанием, настоящим, совершенным, определенным, подлинным, несомненным знанием.

Без этой истины я больше не могу жить, и если никто не жалеет меня, если никто не может мне ответить, я буду в смерти искать блаженства, полного света и полного, вечного небытия.

## Я ХОЧУ ЗЛА

Бывают мгновения, когда мне хорошо, когда я чувствую себя счастливым, когда имею подлую смелость забыть всю низость моей жизни, все мои страдания и тихо, тихо, медленно, лицемерно растягиваюсь на удобствах, на привычках, на спокойной, богатой, жирной жизни, как у всех у вас, о,



ненавистные мне товарищи! Это позорно, и я признаюсь в этом с некоторым ужасом.

Я не создан для радостей, не должен искать удовольствий, — горе мне, если я попаду в теплые, убаюкивающие объятия счастья! Если я хочу быть верным цели существования моей души — клятве, которую я дал, когда родился во второй раз, — договору, который я заключил с жизнью и смертью, — я не должен распускаться и разнеживаться в молочном пойле обыденного благополучия. Слишком регулярна, слишком мирна, слишком тиха сейчас моя жизнь. Сыны человеческие не имеют, где преклонить голову, а у меня квартира в пять комнат в старинном дворце, подле вечно юных садов, на солнечной стороне; у меня хорошие постели для сна, большие кресла для сидения, глубокие тарелки для еды. Я беден, но у меня ни в чем нет недостатка. Каждый день на столе дымятся суп, а хорошо выпеченный хлеб хрустит под зубами. Есть на земле доля улыбок и для того, кто, как проклятый сын, удалился от нее.

Теперь вся моя жизнь упорядочена и урегулирована. Спать я ложусь рано, сплю до утра, же-лудок мой варит хорошо, друзья меня любят, женщины ко мне льнут, старый и малый снимает при моем проходе шляпу. Все хорошо, ни в чем нет недостатка.

Все хорошо, ни в чем нет недостатка для тех, кто смотрит только на внешность и судит о других по своей мерке. Но не для того же я родился на свет, не для того согласился жить, не для того в течение двадцати лет терзал и истязал свою душу, как безумный монах терзает и истязает свою грудь и спину. Я остался в мире потому, что мир

еще страшнее небытия; я принял жизнь потому, что жизнь тяжелее смерти. Я пронизывал себя, сдирал с себя кожу и казнил себя потому, что только через страдания можно найти правду, что только в муках рождаются умственные зародыши; и вся музыка — одна печаль и единственное сладострастие, не внушающее отвращения в глубоком отчаянии.

Я не желаю быть ни довольным, ни спокойным, ни счастливым, ни богатым. Я призываю все несчастья на свою голову; я хочу встретить на пути своей жизни бесчисленное множество горестей. Пусть у меня стучат зубы от болезни; пусть дом мой опустеет от нищеты; пусть мне изменит любовь; пусть меня покинут друзья; пусть меня гложут черви, а лихорадка и безумие пусть оспаривают друг у друга мою голову; пусть меня преследуют и поражают враги; внезапно, без стона, пусть умрут на моих глазах единственные близкие мне люди... Пусть все страдания мира падут на меня: только при этом условии видно будет, человек я или тряпка, поддерживает меня душа или я только скелет. Голова лысеет, щеки становятся впалыми, лоб покрывается морщинами; глаза слезятся. Что за беда? Лишь в отчаянии одиночества растут цветы, которые никогда не вянут, никогда не засыхают, которые живут и благоухают вечно.

## ГИБЕЛЬ ТЕЛА

У меня не одна душа подавлена; испорчено и гибнет и тело мое. Я слишком долго распева-л: дух, дух, а о нем и не думал и правил им, как упрямой лошадью, с помощью шпор и натягивания



удил. Я надеялся укротить его, рассчитывал победить его, обойти его со стороны души, сделаться его господином, даже не глядя на него, и теперь оно мне мстит: я чувствую, что конец приближается, что это сооружение из длинных костей, скудно обтянутое мясом, начинает разваливаться,—грязь возвращается в грязь.

Прежде всего глаза. Я испортил их еще в детстве чтением при свече или при более спокойном, но более резком свете масляной лампадки, которая к полуночи почти всегда тихо, тихо погасала, оставляя меня в темноте и распространяя ужасный чад от продолжавших еще тлеть красных волосков фитиля.

Я принес их в жертву в зимние дни, в ленивые сумерки (какая тоска оставлять увлекательную страницу на середине, подняться с теплого кресла и идти искать спички!), в тупоугольных залах старых библиотек, упорно продолжая читать до тех пор, пока можно было разглядеть форму букв, пока можно было писать почти ошупью на нелюбованной бумаге. А по утрам я часто принимался за поневоле оставленную с вечера книгу, едва лишь первые бледные лучи проникали сквозь ставни, и читал, читал в постели до тех пор, пока отвращение к животному теплу постели не выгоняло меня на уличный холод, на обычные занятия.

Ночью при жалком красном свете, на рассвете при скудном синем,—глаза напрягались, зрачки чрезмерно расширялись, веки краснели. Целый день потом у меня болели глаза, и текли по щекам слезы. Тогда это меня мало трогало, но теперь я уже не могу разглядеть предмета на высокой горе и на

расстоянии нескольких шагов не узнаю лиц близких мне людей. Я не вижу: вижу только поблизи и через сильные стекла. Мир потерял для меня свои самые яркие краски, свои точные рельефные контуры.

Теперь я все вижу неясно, как в легком, далеком, непрерывном тумане. Ночью издали все фигуры у меня сливаются: человека в плаще я могу принять за женщину; маленькое спокойное пламя—за длинную полосу красного света; лодку, плывущую вниз по реке,—за черное пятно на течении. Лица—для меня светлые пятна; окна—темные пятна на домах; деревья—темные, компактные пятна, поднимающиеся из тьмы. На небе для меня сверкают только три—четыре звезды первой величины.

И если бы хоть так продолжалось всегда! Но я боюсь, что совсем ослепну. Я боюсь, что буду видеть все меньше и меньше—и потом вдруг—ничего! С ужасом представляю себе, во что превратилась бы моя жизнь. У меня нет иной силы, кроме ума, нет друзей не среди мертвецов, нет удовольствий вне книг. И я не мог бы больше читать. Не мог бы больше видеть всех этих красивых тондо, курсивов, эльзевиров, давших мне столько радостей, научивших меня всему тому, что я знаю, рассказавших другим то, что во мне было менее подлого.

Я должен буду ждать милости от других, читать чужими глазами, полагаться на выбор, на терпение, на сострадание чужих людей. А вокруг мрак, полный мрак! Черная мгла со всех сторон,—и навсегда. Я, со своими мыслями, один во мраке, до самой смерти. Я не верю в это серьезно, но время от времени думаю об этом,



как о чем-то несомненном, уже установленном — вопрос лишь дней или лет. И я пробую жить этой ужасной предстоящей мне жизнью: иногда на нелюдных улицах я закрываю глаза и продолжаю идти, — я колеблюсь, схожу с прямого пути, натыкаюсь на каменные высоты, ощупываю подле себя штукатурку домов, а под ногами плиты, на которых гулко звучат шаги. Смогу ли я дойти домой? Но вдруг мне слышится шум: экипаж, прохожий. Я открываю глаза: мир не потерян! Я еще вижу, я спасен! Я снова закрываю глаза и, продолжая свой путь между тьмой и радостью, прихожу к намеченной мне судьбе.

Но делать нечего: я несомненно ослепну, я это чувствую. В некоторых пунктах пространство уже прервано для меня навсегда. Маленькие темные пятнышки пляшут и кружатся передо мною, и нет тех очков, которые заставили бы их исчезнуть. Когда они увеличатся и соединятся, для меня упадет на прекрасный мир солнца и красок черная завеса окончательной слепоты — и все будет кончено.

Если я не умру слепым, я умру параликом: помимо глаз у меня испорчены и нервы, и мозг не совсем здоров. Я уже давно получаю предостережения: боль и онемение в ноге, непроизвольные движения пальцев, сильные головные боли. Временами я чувствую, как у меня под черепом что-то тает. Когда я пытаюсь думать, все у меня смешивается и затуманивается, и мне кажется, что все предметы с головокружительной быстротой разбегаются, продолжая оставаться передо мной, идеи внезапно исчезают, и мне не удастся вспомнить их, и одно какое-нибудь глупое слово или

незначительный образ встают в мозгу, внедряются в него и не хотят вернуться в тьму бессознательного. И воздух так давит на меня, будто мне приходится головой поддерживать небесные своды, а в голове боль и пустота, и я не могу мыслить, не могу работать, ничего больше не хочу знать... Сильная усталость бездеятельного человека, отдавшего всего и возвратившего все, отвращение ко всем мыслям и всем лицам заставляют меня жалеть и презирать самого себя.

Я много раз падал в обморок дома и на улице. За этим следуют долгие дни идиотского выздоровления, вынужденного отдыха, несказанного унижения, бессильного гнева, бесцельных усилий. Ничто меня уже не возбуждает: ни кофе, ни чай, ни вино, ни хорошие речи друзей, ни женские ласки. Я испытываю отвращение, тону в ничтожестве и хочу только ночи, постели и тяжкого, долгого, животного сна до позднего утра.

Частые потери сознания; капризы, неуравновешенность, навязчивые идеи; особенно ужасна подавленность, непосредственная тяжесть; это не только головная боль, это болезнь духа, анемия души, немой позор ненавистного, неизбежного отдыха. Иногда мне кажется, что я не могу схватить свою мысль, и в мозгу у меня начинается какая-то быстрая воющая пляска несвязных идей, невозможных фигур, обрывков фраз; пляска, охватывающая меня, увлекающая меня, заставляющая меня теряться в сумбуре собственных творений; какие-то огни появляются и исчезают в океане мрака; а там является мертвая усталость человека, которому нечего больше делать в мире, больше ему не принадлежащем, и который хочет только



есть, чтобы приблизиться к прочности физического здоровья. В один прекрасный день кризис не пройдет, и часть тела останется неподвижной навсегда, мозг перестанет действовать, перестанет мыслить, перестанет видеть; будет забывать то, что видел раньше; неспособен будет больше проникать в чужую мысль, систематизировать и выражать собственную мысль. Это будет медленный, идиотский переход к нескольким банальным образам, оторванным от целого; нечто белое: выбеленные стены, белоснежные передники, небеса без тайн и весь спокойный уклад жизни хорошего платного дома умалишенных. Или, может быть, бешеные вопли, безумные страхи, полные кошмаров и криков ночи, во мраке духа и комнаты? Или, может быть, медленное бессознательное угасание — ничего больше не понимать, ничего больше не сознать, никогда — не понимать даже, что не понимаешь... И конец...

В чем я грешил, тем и буду наказан. Я читал столько ненужного, у меня было столько глупых, отвратительных мыслей. И я больше не буду читать, не буду думать! Мрак вокруг, и пустота внутри... И конец!...

## ALLEGRETTO

Пока будет длиться день, мы будем держать голову высоко и все, что сможем сделать сами, не заставим делать тех, кто придет после нас.

Гёте



## СМЕРТЬ

Кто сказал, что я должен умереть? Умереть? Неужели и я внезапно должен буду перестать дышать, видеть, двигаться, страдать? И я, как другие? Как все? Все люди смертны. Покорно благодарю: разве уже это так убедительно? Пусть себе умирает, кто хочет: я — я, а не другие.

Да нет же! Тут кроется какая-то ошибка, колоссальное недоразумение. По какой причине и я должен исчезнуть, глупо, как „ктонибудь“. Да разве вы не знаете, что я ношу в себе весь мир? Не знаете, что если умру я, не будет больше ни капель дождя, падающих и отскакивающих от листьев, ни прекрасного, жаркого солнца, обжигающего кожу, ни бело-зеленого луга, по которому проходят волны тени, когда его коснется ветер, ни высокого лазурного неба, ни невозмутимого белого вола, ни окаймленных золотом мадонн в глубине церквей, ни грустных песен покинутых девушек, ни драгоценных камней, сверкающих в витринах, по вечерам, под красным электрическим фонарем?

Весь мир, со всеми его красотами и ужасами, с его идеями и телами, весь мир, — здесь, во мне, внутри меня, и он уничтожится, если я умру.



Как! Неужели и я, как другие, превращусь в застывшее тело, в вонючую, кишашую червями падаль, в горсть пыли, в кучку грязи? Возможно ли вообразить что-нибудь подобное? Может ли быть, чтобы мир внезапно умер вместе со мной? Справедливо ли, чтобы все, что я ношу в своем мозгу и в своем сердце, вся эта бесконечная масса мыслей, воспоминаний, образов, тревог должно было кончиться, остановиться навсегда? Как я могу вообразить, что мир будет продолжать существовать, когда я могу мыслить его только своею мыслью?

Уйдите же, злые, коварные обманщики, звери, изголодавшиеся по мертвечине! Я не могу умереть — не хочу умереть; я никогда не умру.

Может быть, вы думаете, что я держусь за жизнь потому, что счастлив, доволен, блаженствую, что она полна удобств и богатств? Нисколько! Я самый несчастный, самый бедный человек в мире: у меня нет любви, нет богатства, нет друзей, я не красив и не силен. Я мало радостей знал в жизни; редко наслаждался; плакал я часто; страдал почти всегда; и все же я не хочу умирать. Нет, ни за что: я хочу еще жить, хочу жить всегда.

Напрасно, ты, священник, обещаешь мне другую жизнь в другом мире: жизнь более прекрасную, более спокойную, более яркую. Я не верю в это. Я ничего не знаю о твоих мирах; ничего не хочу знать о твоём счастье. Я знаю этот мир, эту землю, эту гадкую, беспокойную, мрачную жизнь, её хочу, её желаю, её требую навсегда. Я хочу именно этой моей несчастной, печальной, тревожной, грустной жизни, этой страдальческой жизни. Хочу видеть небо, хоть через щелку в окно, слы-

шать пение птиц по утрам весною; видеть, как смеется ребенок и женщина; иметь возможность написать несколько слов тому, кто меня любит; хочу следить за волнующейся тенью дерева на стене, залитой белым светом августовской луны.

### ИМЕННО ПОТОМУ

Трудно, я думаю, найти другого человека, вся жизнь которого была бы такой сплошной ошибкой.

Мне больше нечего терять. Все нити и подпорки, на которых держалась моя жизнь, перерезаны. И те, что спускались с неба (вера и религия), и те, что воткнуты в землю (догмы и принципы). Я в глубине Дантова круга зла; я отрекся; я должен был отречься; я покинул, и меня покинули.

Знания для меня недостаточно; мужчины мне противны; женщины еще больше; литература мне внушает отвращение; вдохновение не приходит; от славы меня тошнит; жизнь моя нечистоплотна и скучна; тело мое разлагается, а мое единственное первое и глубокое желание, желание могущества, уже даже больше не желание. В этих внутренних землетрясениях разбились все ценности; все надежды обесцветились во мраке этих лет; те якоря спасения, что еще возможны, только крючки, прикрепляющие к земле, к жизни, в которой нет больше ни обещаний, ни стремлений. Представление окончено; декорации поставлены лицом к стене, огни погашены, певички сняли с себя царские одеяния и, одевшись в черное, уехали в карете;



музыкальные инструменты, покинутые и безголо-  
вые, стоят у закрытых люпитров, которые больше  
не откроются. Последний праздник кончился  
с последней нотой; она еще висит в воздухе,  
прерывает слишком пустое молчание. Остается  
только два пути: окончательное отступление или  
смерть.

И все же я чувствую в себе еще большое же-  
лание жить. Я не хочу умирать. Я хочу начать  
жизнь с начала. Хочу найти другой смысл жизни.  
И жить, хотя бы пришлось для этого повиснуть  
в ничтожестве, без нитей над головой, без опоры  
для спины, без костылей под мышками, но жить,  
чорт возьми, жить еще, в полном смысле слова,  
жить глазами и руками, мозгом и печенью, и жить  
еще десять, двадцать, тридцать лет, пока я смогу  
добывать себе в мировой пекарне свой кусок хлеба,  
пока смогу произносить свои слова в несогласном  
хоре человечества.

Я не хочу умирать ни совсем, ни наполовину,  
ни душой, ни телом. Есть во мне что-то сильнее  
всяких поражений; есть в глубине моей души  
скала, которая выдерживает натиск всех бурь,  
разразившихся над ней в последние годы. Есть  
зверь, который хочет есть, есть две ноги, которые  
хотят ходить, голова, которая хочет думать, рука,  
которая хочет писать.

Но для чего? Во имя какой веры? В виду ка-  
кой цели? Этого зверь не знает, зверь не интелли-  
гентен, зверь не религиозен, зверь ничего не по-  
нимает, но я не хочу признать себя побежденным.  
Когда знамена опущены, остаются крепостные  
стены, когда слова не соответствуют больше дей-  
ствительности, к чорту слова, и да здравствуют

факты! Факт остается, факт есть нечто неоспори-  
мое, самодовлеющее, факт не хочет умирать.

Не одна только кровь не желает слышать о том,  
чтобы остановиться. Само я, закрывшее одно  
за другим свои окна в возможность и принужден-  
ное отказаться от единственного, поддерживавшего  
его окна в невозможность, не желает уйти. Оно  
во мраке, без сил и без желаний, но не хочет  
уничтожаться. Оно все ждет. Оно ни на что не на-  
деется, но ждет. Если придет самое худшее, оно  
примет его, но оно не хочет бросаться в бездну,  
туда, где начинается ничто, где нет надежды  
даже на страдания.

Мое интимное я все истерзано и измучено, но  
эти муки ему нравятся, ибо это означает жить,  
это значит чему-то сопротивляться. То, что судьба  
преследует его таким образом, дает ему уверен-  
ность, что есть в нем что-то, что может служить  
для прицела, дает ему сознание своего значения  
в мире. Оно спустилось низко, низко, до самого  
дна пропасти. Не может больше двигаться: оно  
должно вырыть себе там могилу или же подняться  
к свету. Ничего другого не остается. И тогда  
конченный человек поднимается, и начинается но-  
вая глава.

Но эта новая глава совершенно не похожа на  
другие. То, что я отрицал, я попрежнему отри-  
цаю; отвергнутых мечтаний я назад не призываю;  
от презренных стремлений я отказываюсь и ныне;  
людей, которые мне были противны, я и теперь  
держу далеко от себя; цели, которые порой  
ослепляли мой взор, попрежнему далеки. Но это  
неважно. Начинается новый путь, тайна открыта.  
Передо мной открывается еще одна, последняя



возможность величия, и я от нее не отказываюсь. Для нее одной тихо расцветает пустыня, и стыдливые зрочки под красными веками зажигаются и мечут искры. Я могу еще быть героем. Я должен уважать себя, чтобы не быть принужденным уничтожить себя,—и это ничто спасает меня.

Для меня нет более ничего. Я совершенный нигилист. Я ни во что больше не верю. Я окончательный скептик. Я не верю ни во что: я определенный, решительный, полный атеист; атеист, не преклоняющийся даже перед светской, рациональной, философской и гуманитарной верой, занявшей место древних мифологических верований. Я знаю, что из наших усилий не выйдет ничего; что конец всего — ничто; что вознаграждением за каждый труд, в конце веков, будет ничто и опять ничто. Знаю, что все наши сооружения будут разрушены; что от наших пожаров не останется и пепла; наши идеалы, даже достигнутые и завоеванные, провалятся в вечную тьму забвения и конечного небытия. Никакой, никакой надежды нет у меня в сердце; никакого, никакого обещания я не могу дать себе и другим; никакой награды не могу ждать за свои поступки; никакого результата от своих мыслей. Будущее, эта чаровница всех людей, эта вечная причина всех последствий, для меня не что иное, как голая перспектива уничтожения.

И все же перед этим ужасным зрелищем, перед этим отчаянным крушением надежд, я не морщусь лица и не отступаю. Я согласен продолжать жить. Все, что я буду делать, будет бесполезно, но именно потому я чувствую необходимость делать. Ничтожество, ничтожество мое собственное,

моих трудов, всего мира — есть конечный результат всех моих усилий, и именно потому я буду продолжать делать усилия, пока земля не призовет меня в свой темный покой.

Я хочу отречься от всего утилитарного в своем прошлом. Все люди ищут награды, платы за то, что делают. Даже те поступки, которые кажутся чисто духовными — акты творчества, веры, любви — ждут себе воздаяния, требуют, рано или поздно, чтобы им уплатили по счету. Никто ничего не делает даром. Даже религия, даже искусство, даже философия основаны на выгоде. Человеческие деяния — все без исключения — векселя, по которым надо платить. Срок им более или менее длинный — некоторым он истекает в другой жизни, на небе, во веки веков — но день расчета приходит. Если бы люди наверно знали, что за какое-нибудь из их деяний они не получат рано или поздно вознаграждения, никто не делал бы ничего. Даже бог хочет награды в виде молитв и жертв; есть даже вечная тюрьма ада для плохих плательщиков.

И сам я, в прошлом, был самым жадным из этих корыстолюбцев. Я хотел, чтобы мне воздалось многое за малое; чтобы за каких-нибудь несколько лет одиночества, труда и аскетизма мне было дано в награду вечное могущество. Я искал духа не для духа, а для того, чтобы сделать его рычагом материи, орудием земного владычества.

Но ныне, когда на моих глазах все это пало, и я признаю лишь радикальную несостоятельность бесконечности и бесполезность всяких усилий, теперь я уничтожаю в себе корыстолюбца, утилитариста, хищника, коршуна, жида, ростовщика и соглашаюсь жить именно потому, что жизнь не пла-



тит гонорара, и продолжаю мыслить именно потому, что мысль никогда не может быть на жалованьи.

Человек в отчаянии находит в глубине собственного отчаяния новую опору, чтобы вновь подняться над ямой плакальчиков; атеист, ни во что и в никого не верующий, находит в одной трагической пустоте своего духа, без всякого рода богов, силу веры в себя, в каждый данный момент своего я и мира, принадлежащего ему. После оргии страдания снова рождается в муках возможность радости: так как я ничего не жду, то не испытаю больше разочарований, не буду больше огорчаться подлой неосуществимостью фактов.

Одиноким, совершенно одиноким человек, совершенно обнаженный человек, ничего не просящий, ничего не желающий, достигший вершины бескорыстия, не из слепого отречения, а из слишком большой проницательности, обращается к миру, который для него обнажен, как выжженный луг, как разграбленный город, к миру, в котором нет больше ни церквей, ни целей, ни приютов, ни убежищ, и говорит ему: хоть ты мне ничего не обещаешь, я все еще с тобой, я присоединяюсь еще к твоей силе, работаю над твоей работой, сопровождаю и отражаю тебя в твоём безжалостном шествии.

Пока человек чего-то ждет от мира, он только торговец, который приходит за получкой, который обменивает и торгует, который злится, когда терпит неудачу, убивает себя, когда не выручает вложенного, когда ему не платят по векселю, когда доход меньше расхода. Но человек, отказавшийся от всякого вознаграждения и трудящийся для того, что будет уничтожено, зная, что оно бу-

дет уничтожено, единственный достойный человек, поистине заслуживающий того, чтобы жить в мире. Он единственный благородный по сравнению с окружающими его торговцами, даже если на вывесках их лавок написаны самые чистые, самые идеальные и метафизические имена.

Он делает и не притязает, на то, чтобы другие делали за него; дает, зная, что никогда не получит; стремится к вершинам, зная, что не достигнет их; предлагает всего себя и знает, что никто ему не заплатит по справедливой цене. Но в этом-то и состоит его трагическое величие; в этом-то его нечеловеческое, что еще дает ему возможность существовать среди людей. И других радостей у него нет: у него нет, как у тех, кто верит в жизнь, в человечество и в правду обещаний, утешений и миражей, поддерживающих его и делающих его жизнь менее тяжелой и суровой. Он может рассчитывать только на свою силу, и сознание, что он так силен, что может обойтись без всего остального, наполняет ему душу горьким, здоровым сладострастием. Разве нужна смелость, чтобы жить, когда твердо веришь, что наши идеалы претворяются в действительность и что какой-то рай, будь он земной или небесный, ожидает нас, успокоит нас от мук? Истинное благородство человека, величайший героизм состоит в умении жить и тогда, когда уничтожен всякий смысл жизни, когда отброшены все завесы, все костыли, делающие жизнь возможной для всех.

Ради этого благородства, ради этого величия, ради этого последнего, отчаянного героизма я избегаю одновременно смерти и посредственности. И продолжаю жить, и хочу жить, и буду жить, еще



и всегда, не боясь неожиданностей и неудач. Из окончательного крушения всего я заставил родиться новую победу.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

Итак, я оживаю. Но одинокий, до ужаса одинокий. Только я—и уже не бог, но, как он бескорыстный, если не властитель мира, как он. Я должен перестроить по-новому свою жизнь, это будет действительно моя жизнь, действительно новая жизнь. У меня нет других союзников и товарищей, кроме меня. Нет такой руки, которая поддержала бы меня, если бы, поскользнувшись при восхождении, я протянул свою. Земля полна голосов, но это только „*buone novelle*“, с которыми я обедал и ужинал и которые ничего больше мне не говорят. Это для других—для неосвобожденных.

И все же для того, чтобы выпрямиться, чтобы вновь пуститься в путь, мне нужно на что-нибудь опереться, пустить в каком-нибудь месте корни. У меня нет никого, кроме самого себя, но это тесно связано с частью мира. Я вовсе не метафизический, не абсолютный человек, повисший в атмосфере понятий. Я родился в определенном месте, принадлежу к известной расе, ношу в себе историю, традиции. Сосредоточиться, сконцентрироваться в себе означает также войти в контакт с моей родной землей, с моим народом, с культурой, из которой, желаю я этого или нет, я вышел.

Я должен начать с начала, возродиться, иначе гонимая, вернуться к своей прародительнице, не

к той, что из плоти—к матери, а к более настоящей и великой—к родине. Пока я был только маниаком умственности, родиной мне был мир, а моя библиотека — нацией; в ней я находил единственные законы, которые признавал. Но теперь, когда я хочу обновить кости и вновь пустить в движение кровь, я должен начать свои устремления с начала и обратиться к самым глубоким корням всего своего конкретного существа.

Потому-то я захотел возобновить знакомство со своей страной, и, обретя ее, я лучше узнал и собственную душу. Врачи прописывают некоторым больным климат родной страны. По случайной случайности больной этот, в моем лице, наполнил себе грудь воздухом своей родины и почувствовал себя хорошо: пока я утопал в теоретической мировой культуре, я оставался человеком дома и города. Я покинул природу и, бывая на ее ложе, я ее не видел, не охватывал, не любил. Но материнский лик виден только с вершины и далеко от штукатурных городских украшений. Я вновь обрел его ныне в горах, загоревшим от солнца, побледневшим от луны, побелевшим от снега, свежим от цветов, изборожденным морщинами от ветра—но ничуть не старым, вечно юным, всегда одинаковым, с улыбкой, которая не обманет.

Напрасно я ломаю это свое больное я, пытаюсь сделать из него афинского бога или скандинавского богатыря. Пока я—весь мозг и только мозг, я веду беседу с китайцем и с суфитом, с немецким профессором и английским критиком, с французским якобинцем и греческим софистом. Я принадлежу всем векам и всем племенам; я понимаю,



и меня понимают. Мои слова — международные жетоны, которые я трачу на первом попавшемся рынке.

Но когда я сжимаюсь душой и телом, мозгом и сердцем, когда хочу втиснуться в одну какую-нибудь расу, в один век, я чувствую, что моя родина здесь, что я принадлежу только этому месту и этому времени, что бы я ни делал. Я человек, родившийся в Тоскане, среди тосканцев, среди тосканских пейзажей и ценностей — человек, который родился в Тоскане в 1881 году, которому в первый год нового века минуло 20 лет и который пишет в настоящем тысяча девятьсот двенадцатом году. Я не только итальянец, я — тосканец. Истинная родина каждого не то царство или республика, к которой он принадлежит. Италия слишком велика для каждого итальянца. Настоящая родина может быть только маленькой. Даже во Франции, на что уже слившейся стране, бретонец относится к провансальцу, как к иностранцу, а нормандец и лотарингец остаются нормандцем и лотарингцем даже в сердце Парижа.

Я чувствую себя настоящим тосканцем. Венецианцы и неаполитанцы мне чужды; они мне более далеки, чем некоторые варвары. Мне неприятно быть с ними; я чувствую, что мы не братья. Недостаточно писать на одном языке и подчиняться одному кодексу, чтобы можно было сказать, что имеешь одну и ту же родину.

И среди тосканцев я также чувствую себя чужим и далеким. Но когда я говорю Тоскана, я подразумеваю прежде всего тосканскую природу, горы, холмы, реки — горизонт этой провинции,

идущие от розовых башен Апуан до обширной пустынной мареммы, меж высоких вершин Апеннин и зеленого дыхания Тирренского моря. Я говорю об этом небе, таком прекрасном, даже когда оно некрасиво, об извивающейся бледности оливковых деревьев, о темных кольях кипарисов, о тучных фестонах винограда на холмах, об этих пустынных каменистых долинах, где цветет лишь синий чертополох да серый дрок.

Еще я понимаю под Тосканой великих тосканцев и их гений. От праотцев этрусков, спокойных и проникательных, как божества, что стоят на страже у своих могил; от этрусков, принесших с собою с востока любовь к будущему и твердость в искусстве; от этрусков, преподававших цивилизацию римлянам и заключивших в своих пределах то, что должно было сделаться самой богатой великими людьми Италией — выше, выше до мощи Данте, до жестокости Маккиавелли, до грозного гения Микель-Анджело, любознательности Леонардо, проникновенности Галилея. Во всех этих людях вы ощущаете силу, плебейскую силу здорового реализма, умеренность, ясность, величие без напыщенности и хвастовства, строгость без лицемерия и суровости. Есть местный тосканский гений, со своими особенностями, отличный от всех других гениев, итальянских и иностранных, с которыми я чувствую свою полную гармонию.

Итак, обрести самого себя, означало обрести Тоскану в ее природе и традициях. Не дороги вокруг Флоренции, вырезанные в серых стенах, не решетки барских домов, а дорожки пастухов по склонам Апеннин, наелине с небом, с лесами у ног.



Не городские холмы Виале-деи-Колли или Инконтро, а горбы Пратоманьо и вершины Лунных Альп. Я нашел себе уединенный, малоизвестный холмик, расположенный одновременно в сердце и на границе моей Тосканы. Он близ истоков Тибра, близ того леса, где страдал св. Франциск, того замка, где родился Микель-Анджело, того городка, где родился Пьеро делла Франческа... В нескольких шагах от меня место, где бывал молодым республиканец Кардуччи. А поднявшись еще выше, я могу увидеть море Романьи и высоты Умбрии.

На этом каменистом холме, где ветер не находит покоя, мой дух обрел спокойствие и самого себя. В этом кругу черных остроконечных гор, на этом лугу, бедном цветами и травами и усеянном камнями, в тени этих запущенных дубов, под шум этой узкой, но светлой реки, которая в Рим доплывает мутной и бурной, под этим действительно лазурным небом, прозрачным и нежным, даже когда оно покрыто тучами, я почувствовал истинный запах земли, благоухание воздуха, вкус хлеба и умеренное тепло костра из хвороста. Жизнь мало по малу вновь завоевала меня прелестью своей простоты. Я снова сделался ребенком примитивным, диким, неотесанным. Я вновь воссоединился со своими праотцами крестьянами, с хорошими мужиками-плебеями, которые в этих местах пасли коров и жали хлеб. Я примирился со своей старой семьей. Для блудного сына, который обедал на всех интеллектуальных банкетах Европы, который пас и колотил чужих свиней, старый дом уготовил уголок у почерневшего от дыма очага, за еловым столом, отдающим желтой кукурузной кашей,

соленым окороком и горячим, только что вынутым из печи, хлебом.

В первое время радость этого сближения была так велика, что я чувствовал потребность приносить домой какие-нибудь частицы этой братской и родительской природы, которую я с каждым днем все больше узнавал и любил; заостренный, как гора, камень; нарост, сорванный с дубового листка, гладкий жолудь красивой формы, букет полевых цветов, кипарисовую шишку, зерно кукурузы. Все эти скромные, простые, грубые, бесполезные, не имеющие никакой ценности предметы доставляли мне необычайное удовольствие; я чувствовал, что они мои друзья, братья, часть меня самого, символ родной земли и ее традиций.

В то время я ближе подходил и к литературе моих великих земляков. После первых лет жадного чтения мировой литературы, я еще к ним не возвращался. Я пропитался экзотическими культурами; я почти не читал итальянских книг; а читая, предпочитал теоретиков лирикам, ученых поэтам. Но там, наверху, после возвращения к настоящей своей родине, я почувствовал непреодолимую потребность вернуться и к родине прошлой. И мало-по-малу под сенью дубов и буков, вдыхая запах мяты и зимний ветер, я перечел книги, принадлежавшие мне по праву рождения и возрождения: Данте и Коппаны, Бокаччо и Саккетти, Маккиавелли и Реди, Джини Каппони и Джозуэ Кардуччи. Книги, которые я читал по чувству долга и из любопытства, книги, которые мне наскучили в школе и оставили меня равнодушным вне школы, на которые я до сих пор смотрел, как на литера-



турную риторику или исторические документы, открывались теперь предо мной, как друзья и братья, принимали новую окраску, новый вкус и оживали со всей своей прежней силой. Эти старые книги освежали мне ум. Эти старые люди, крепкие, лишённые предрассудков, казались мне в некоторых смыслах более современными, чем я. И я чувствовал, что принадлежу к тому же дому, что вышел из лона той же семьи, что говорю на одном с ними языке, что своими воспоминаниями могу понять и то, что может показаться странным и вульгарным в глазах иностранца.

Это было какое-то путешествие изгнанника на места, где он был вскормлен. Все явилось мне как бы впервые, душа моя окунулась в то, что мне казалось новым, но для чего у меня были приготовлены место и подходящая рамка. Входы в ад, потоки света с неба, Флоренция, с торчащими башнями и пирами, похотливые юноши, лишаящие девственности и наставляющие рога, старички-шуты, хитрые или мужественные князья, естественная злость людей, движение звезд в бесконечности и брожение молодого вина в кадке, история поражений и надежд, Вальдарно и Маремма, Казентино и Муджелло — вся прекрасная Тосканская земля, с ее людьми и садами, с небесами и источниками, от ропота коммун, до ворчания 59-го года, проникла мне в сердце и впиалась в плоть, как мать вливается в долгожданного, вернувшегося к ней сына.

Меня захватило не только сильное содержание этих книг, но и, главным образом, их художественность и удивительный язык, на котором они

были написаны. Никаких украшений, никакой напыщенности, никаких бесполезных побрякушек, ни капли дурного вкуса или слабости, сильные вещи, без внешних эффектов, рисунки и образы, сделанные из камня или бронзы, а не из сливок и меду. Глубокие рельефы, временами резкие, но решительные, ясные, и ни одной лишней строчки. Язык богатый, вечно новый, полный выразительных сокращений и оборотов — простой и плебейский, но не проигрывающий ни в торжественности, ни в величественности. И здесь, как в горах этой области, внешняя бедность, здоровая простота, суровая радость — величие и свобода.

Эта Тоскана — моя Тоскана, но это и есть настоящая, знаменитая Тоскана, а не Тоскана ублюдков флорентийцев, обходительных, слащавых, оскотиненных писателишек, что с XVII века поныне погнали и предавали свою родину. Я же хочу оставаться верным этой великой, обретенной мною Тоскане — ибо, чтобы возродить себя, мне понадобилось переделать себя с того мгновения, в которое я родился. Я похожу на свою землю и еще больше хочу походить на нее. Я не могу больше отказываться от наследия отцов и оставаться глухим к голосу братьев, которых я не мог знать.

Прежде во мне был весь мир. Потом я очутился один и стал почти безжизнен. Чтобы набраться сил, мне пришлось ухватиться за тот кусок мира, который был мне всего ближе. Теперь, после того, как я вновь сосал грудь своей матери и слышал ее говор, когда я чувствую, что тело мое вновь налилось кровью, а язык развязался, я могу продолжать идти к своей настоящей судьбе.



## КТО Я?

Но что это за судьба? Что я такое?

Теперь, когда я могу располагать только своими преобразованными и вновь обретенными силами и своей отчаянной экзальтацией, я не могу вдохновляться внешними причинами, не могу обращаться к фантазмам, лежащим вне меня. Все боги, святые и грешные, азиатские и европейские, скрылись. Предо мной нет никакого бога. Я, как свирепый Единственный, превратил свое дело в ничто. Мир делится на две части: я — и все остальное.

Теперь, это мое внутреннее ядрышко должно дать жизнь всему, должно возбудить и преобразовать все, что меня окружает, должно помочь мне переносить его. В этом последнем и решительном бою у меня не может быть союзников. Если придет смерть и не остановится передо мной, значит я только тряпка, которую нужно бросить и которая уничтожится в бесконечных развалинах всего бесполезного.

Итак, я вызываю тебя на бой, враждебный мне мир. Я с трудом поднялся на ноги, я весь разбит от падений, но торс мой держится прямо; я готов к бою, готов плюнуть на этот ад, где кроткие Авели безжалостно обманывают Каинов, неповинующихся невидимым законам рода. Тяжелая это вещь — жизнь эгоиста, без опоры дружественных стен, без спокойствия тихой пристани, без протянутых, горячих от сердечности, рук. Но я ищу палки не для того, чтобы на нее опереться, а чтобы бить, и когда я чувствую себя слишком

слабым, я замыкаюсь в самом себе, и чем лить слезы любви перед тем, кого я презираю и кто меня презирает, я забавляюсь тем, что оскорбляю в своем лице весь человеческий род. К чорту же и расслабляющую любовь!

Кто же я, наконец? В чем состоит этот мой капитал, ни от кого не унаследованный, ни у кого не украденный, заработанный копейка за копейкой на фабрике опыта, трудом моей души, и составляющий теперь мое единственное сокровище, всю мою небольшую силу, одним словом, мое настоящее?

Многие — друзья и враги — пытались определить меня, описать меня, ввести меня в рамку. Я слушал, молчал, улыбался. Достигнув середины возможной жизни, после многих испытаний и продолжительного карантина одиночества, я думаю, что я знаю себя лучше, чем другие.

Я не человек действия и не философ. Мне нравится история, но я никогда не буду министром. Но я не купец и не святой. Мне нужны деньги, чтобы быть свободным, но у меня не хватает смелости бросить все, чтобы добывать их какой бы то ни было ценой; я завидую великим людям, сумевшим от всего отречься, но не верю в богов и в рай. Только две вещи во мне могут заинтересовать других — в той мешанине из здоровья и болезни, филистерства и злости, что интересует только меня одного.

Я, чтобы сказать все в одном слове, поэт и разрушитель, фантазер и скептик, лирик и циник. Как эти две души уживаются вместе, было бы слишком длинно описывать. Но это действительная основа моей души.



Иногда я — бедный sentimentalный человек, умиляющийся, едва только услышит из-за закрытых ставней простой ритм венского танца, который кто-то барабанит на пианино; дитя, преисполняющееся нежности, когда взглядывает на жалкое однотонное небо, цвета тучи, без малейшего утешения в виде черного или белого облака; несчастный, который может преисполниться любви к незнакомому старику, к умершему другу, к отрезанному цветку, к заколоченному дому.

Иногда же я превращаюсь в Гоббсовского волка с зубами, которые не могут не рвать и не кусать. Ничто для меня не свято: ни величие усопших, ни слава, установленная веками, ни истина, освященная тысячелетним опытом, ни святость закона, ни страх перед кодексом, ни нравственные аксиомы, ни узы самых глубоких привязанностей. Я все хочу перевернуть ногами вверх, опрокинуть верования, показать некрасивый задний фасад каждого эффектного здания, пятна на каждой звезде, жалкие основания каждого величия, низкие мотивы каждого уважаемого учреждения, слепоту мудрецов, подлость моралистов, правоту дурных, сладость зла, величие небытия.

Мне нравится разрушать, грызть, оскорблять, поднимать завесы, обнажать трупы, срывать маски. Я становлюсь человеком без страха и целомудрия; я никого не уважаю; прекрасно чувствую себя в беспорядке; люблю смущать, пугать, быть и казаться злым.

Но вслед за этим неистовством разрушения является фантазер, воображающий невозможные истории, извращающий действительность, отражающий в удобном зеркале воображения самые дур-

ные свои инстинкты, самые безумные желания, создающий себе в преувеличенном виде людей, которых он любит и тех... кого он ненавидит, черпая у самой жизни реальную основу, которую он удлинняет и усиливает во сне.

Тогда меня осаждают нелепые истории, странные проекты, невероятные приключения, безумцы и преступники, никогда не жившие и не желающие жить во мне, безрассудная мнимая любовь, странные, невероятные смерти. Я принужден создавать новый мир, смущающий и беспокоящий меня самого в долгие поры, когда я становлюсь мешанином и реалистом, как все другие, мир, заключающий в себе обломки и лучи глубокой истины; но это не тот живой, настоящий мир, который мы все будто бы знаем. В этом мире я действую совершенно свободно; я придаю своим фигурам то лицо, какое хочу, заставляю их говорить на свой лад, заставляю жить для целей, которых никто себе не ставит, заставляю внезапно умирать добровольной смертью по причинам, которые показались бы смешными людям из плоти и крови.

Я остался, одним словом, человеком, не приемлющим мира, и на этом моем упорном отношении к миру держится единство и согласие моих противоположных душ. Я не хочу принять мир таким, каков он есть, и потому пытаюсь переделать его в фантазии или преобразовать его, разрушив его. Я перестраиваю его с помощью искусства или пытаюсь перевернуть его с помощью теории. Это две различные, но согласные и совпадающие силы.

Такой, какой я сейчас есть и каким уж останусь, я чувствую себя все же творческой и разру-



шительной силой, чувствую, что я ценность, что имею свои права, свою часть, свою миссию среди людей. Одни лишь глупцы, на всю жизнь поверженные в глупость, могут объявить себя довольными миром. Тот, кто пытается сдвинуть его, пробудить его, зажечь его, обновить и усилить его, имеет право не на признательность, на которую я теперь и всегда плюю, но на свободу говорить и существовать. Каждый человек, чтобы жить, должен верить, что жизнь его не совсем бесполезна. Я не ищу и не прошу другой опоры—но эта жалкая уверенность нужна и мне наравне со слабыми. Я живу и действую, зная, что вся моя жизнь и моя деятельность провалятся в ничто, но я хочу, чтобы другие чувствовали, что я имею право жить среди них и оскорблять их, так как я делаю нечто, что может принести пользу им самим.

В мире, где все думают только о еде и о деньгах, о развлечениях и власти, необходимо, чтобы время от времени появлялся кто-нибудь, кто обновил бы взгляд на вещи, кто выявил бы необычайное в обычных вещах, тайну в обыденщине, красоту в соре. В среде огромнейшей и могущественнейшей касты рабов принятого мнения и традиции, педантов, паразитов и софистов, проповедников старых сказок, привратников моралистических и мистических тюрем, упрямо повторяющих все старые общественные формы и общие места, кто-нибудь должен бодрствовать по ночам; часовой с чистым умом, пахарь с крепкими мускулами, добровольный поджигатель, который сжигает и разрушает, чтобы дать место свету площадей, деревьям обретенной свободы, будущим строениям.

Я один из тех людей, которые принимают на себя неблагодарный долг и самую опасную роль. И за то добро, за то зло, которое я хочу делать и которое делаю, я имею право дышать, греться, ходить, поднимать голову, плевать в лицо—существовать согласно своим собственным законам.

### ЗАЯВЛЕНИЕ О СТИЛЕ

Я пишу не ради денег, не ради того, чтобы выставить себя в красивом свете, не для того, чтобы играть роль сводни для скромных девушек и жирных мужчин и не для того даже, чтобы нацепить на свою мягкую черную шляпу карнавальную лавровую ветвь городской славы. Я пишу только для того, чтобы дать себе выход, выход в самом грязном смысле, какой вы можете себе представить, о, нежные воображения баритонов не у дел. Заметьте, я не говорю, чтобы „освободиться“, как ваш долбогровый герой, как великолепный флистер Гете Вольфганг, тайный советник герцога Веймарского и всех реабилитированных прометеев.

Он освобождался с помощью трагического легкомыслия Вертера от легкого, мелкого отчаяния, добровольного уединения, и продукт сего освобождения шел на ночные столики прекрасных, отцветших, сентиментальных дам и на изголовья будущих самоубийц, как смертоносная безделушка, вышитая всеми цветами хорошей литературы.

Я же дал себе выход, и, говоря это, имею в виду самые плебейские отвратительные синонимы: плевок, идущий из глубины моего воспаленного



горла и разлетающийся, как по волшебству, на все лица, которые я считаю достойными пощечины; желчь, которая отделилась у меня от крови, от созерцания нашей жизни; гной, который течет из язв, из ран, из нарывов моей безнравственной личности, выставленной на заразу самых модных гостиных; неожиданную и громкую отрывку, идущую, как презрение, с самого дна. Предупреждаю вас, господа: из под моего бегущего по листу бумаги пера, не выйдет ничего деликатного.

Я хотел бы, чтобы вместо синих чернил, выливающих из под его квадратного стального острья, вытекала темная дымящаяся кровь, как та, что каплет из груди героя ночной драки, я хотел бы, чтобы сталь дырявила, пожирала бумагу, которой она касается, словно бы это было раскаленное железо, и чтобы из прожженных строк к открытым ноздрям читателя подымался едкий, благодетельный дым.

Я не принадлежу, почтенная публика, к числу писателей, со скромным услужливым видом лакеев подающих вам пальто и шубы. Одни из них стоят перед воображаемыми читателями в позе мнимого неаполитанца, с гитарой через плечо и патетически открытым ртом, опирающегося на забор под окном отелей щедрых туристов; другие расстилаются у его ног, яко длинноволосые Магдалины, и извлекают из ампул бальзамы и натиранья, годные для всех душевных ссадин и мозолей; иные же напоминают мне маленьких служек, в чисто вымытых стихарях, размахивающих по воскресеньям медным кадилом под пение торжественной мессы.

Я принадлежу к другому роду. При моем рождении надо мной не было мирного дыхания быка

и осла, и кроткие пастухи не пришли и не поклонились мне в первый день моей жизни. Я рожден революционером, и даже не уверен в том, что, выходя из кровавых материнских дверей, я вместо обычных криков удивления, не затанул мотива какой-нибудь неуместной марсельезы. Кто бы ни управлял миром, я всегда буду в оппозиции. Естественным выражением моего ума является протест; натуральным положением моего тела является штыковое нападение; мои любимые формы — брань и оскорбление. Любовная песнь звучит в моих устах, как революционный припев; сердечные излияния внезапно обрываются взрывом смеха, злой усмешкой, гневным пожатием плеч. О, если бы каждое мое слово было ружейной пулей, свистящей в свободном воздухе; каждая моя фраза — струей пламени; каждая глава — хорошо защищенной баррикадой; каждая моя книга — грудой камней, такой большой и тяжелой, чтобы раздавить и сплющить волосатые черепа целого народа.

Есть слова белые, хрупкие и пахучие, как жасмин; есть приторные и липкие, как розовый постный сахар на пряниках для бедных детей; есть и те, что мягки, теплы и порочны, как тело сорокалетней любовницы; а бывают и такие райские, воздушные; далекие слова, что одни только гусиные перья старых, долго постившихся святых могли нанизывать их на бумагу, как дрожащих бабочек, сотканных из пылинок. И, наконец, бывают такие публичные и безвкусные слова, что составленная из них проза крошится меж пальцев, как мякоть высохшего хлеба.

Но я избираю и предпочитаю не эти слова: мои слова должны быть твердыми, как кремь,



неровными, острыми и неприятными, как камни, обрушивающиеся при обвалах и разлетающиеся из каменоломен; должны быть язычески, естественно и непристойно наги, какими они вышли из пахнувших вином уст племени — творца. Из этих грубых природных слов я хочу создать себе квадратную, сжатую, твердую, здоровую и крепкую прозу, которая заставит устыдиться надушенных распутников всех самых литературных литератур. А когда я отделаюсь от слюны, от гноя, от испорченной крови, когда я выскажусь всем обо всем, тогда я сделаюсь нежным, как лилии в долине, и буду сосредоточенно слушать, как по утрам, прыгая по черепицам, чирикают воробьи; и буду умиляться при звоне колоколов на низких облупленных колокольнях заброшенных церквей, и буду ходить с опущенной головой, чтобы не раздавить красивую божью коровку, по аллеям садов за городскими стенами. Тогда вы услышите из моего освобожденного сердца песнь, дышащую такой страстью, преисполненную такой нежности, таящую такую печальную любовь, что никто из вас не сможет выслушать ее, не вспомнив самого солнечного, самого страстного мига своей юности, не извиваясь и не тоскуя от слишком раздражающей нежности.

### Я НЕ КОНЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Итак, по Италии прошел слух, что я — исчерпавший себя, исписавшийся, конченный человек. Говорят даже, что я был костром из соломы и что весенний ветер унес с собою остатки пепла.

Осторожней, ребята! Подождите, пожалуйста, немного, какой там конченный! Да ведь я еще не начинал! Вообразите, что все, что я сделал — когда? — было предисловием, вступлением, оглавлением на первой странице, объявлением проспектом и даже, если хотите, вылитым для более свободного внутреннего брожения избытком бродящего вина и пены. Лучшее придет теперь: я только сегодня рождаюсь.

Костер из соломы был праздничным, искусственным огнем, ребяческим фейерверком, шуткой, забавой; теперь же я чувствую, что я зажигаю пожар, которого нельзя будет потушить, от которого зажжется весь мир.

Не знаю, что вы сделаете с могилой, которую вырыли для меня (может быть, зароете туда при случае зародыши ваших выкидышей); но эпитафии ваши советую вам бросить в корзину. Нет той мраморной доски, которая заставила бы меня сдаться: от ваших смертных приговоров у меня является такое веселое настроение, такое желание смеяться, двигаться, действовать, какого я уже давно не испытывал.

Нет, знайте это раз навсегда: нехорошо смешивать молчание со смертью, сосредоточенность с концом, подготовку с самоубийством. Мне тридцать лет, но у меня еще белокурые вьющиеся волосы; у меня еще много зубов; крепкие руки, быстрые ноги. Я всегда чувствую, как кровь молотом бьет в пульсах и венах; в голове у меня еще кипят идеи; мысль еще не покинула меня; наоборот, она стала яснее и решительнее. У меня есть еще что сказать, и есть впереди время; а дома у меня всегда много белой бумаги, гладкой, бело-



снежной, нарезанной бумаги, по которой перо скользит легко и быстро; у меня есть еще стальные перья и полные, еще не раскупоренные бутылки чернил. У меня нет недостатка ни в чем; мой час не пришел, это была ошибка, но может быть, он скоро пробьет. Я не сдаюсь и не отступаю, я все еще здесь, и сам своей особой готов отплатить всем за все.

Мне столько надо сказать. Вы не имеете представления о том количестве впечатлений и открытий, какое я должен сообщить другим прежде, чем умру. Не могу же я осудить на гибель всю эту часть меня, которая есть лучшее, единственное, что оправдывает все остальные. У меня есть обязательство по отношению к самому себе, к людям, к духу. Я чувствую, что представляю в своей стране, в мире, течение мыслей, к которому относятся неблагоприятно, которое мало распространено, плохо понято; чувствую, что олицетворяю враждебность и недружелюбие против манеры писать, которая пагубна, позорна, глупа. Неужели же я должен сидеть тихо, удалиться в келью молчаливого зрителя или в тепленькую комнатку, хорошо пристроившего человека, которому нет больше дела до мира, лишь бы был во-время готов его ужин?

Чем такой конец, лучше умереть. Я должен сказать то, что в себе таю; мой долг сделать так, чтобы другие больше не говорили, не думали, не писали некоторых вещей. Мне нет дела до того, что все это напрасно — мне нет дела. Искренно — никакого дела. Я и на это не обращаю внимания. Тем жертва и велика, и прекрасна, что нелепа. Потому и жертва, что нелепа. Ни один разумный поступок никогда не был назван жертвой. Я чув-

ствую себя достаточно сильным, чтобы тратить свои силы на муки Тантала, достаточно богатым, чтобы выбросить лучшее, что есть, за окно. Я не только не кончен, я неисчерпаем; мой огонь подобен пламени, в котором горят высокомерные в католическом аду; он неугасим. И мне кажется, что моя молодость должна быть вечной, как юность греческих богов.

Я говорю — мне кажется, а сам не верю. Придет и для меня день, когда золотая чешуя вещей спадет, как выкрашенные полосы полотна, в которые заворачивали превратившиеся в пыль мумии; придет день, когда солнце покажется мне только еще одной лампой на душном небе, возвращение весны будет просто новой страницей в календаре, цветы напрасно будут черпать в грязной земле свои нежнейшие краски, соперничая с небом, а соловьи в жаркие вечера будут только одним из стольких ночных звуков; и когда солнце зайдет за реку, я не буду больше подниматься по склонам холмов, чтобы приветствовать его глазами и молчанием. Белокурые, нежные, подмигивающие мне, хорошо сложенные женщины будут проходить мимо меня, и тело мое не содрогнется от желания: они уже не для меня, я не думаю больше о том, чтобы заставить себя полюбить. И вся моя жизнь как бы растает в вялом равнодушии, в тумане серых, порой одинаковых воспоминаний, без искры желания, без проблеска действия.

Так будет со мной, как со всеми.

Но прежде, чем дойти до такого конца, я хочу наполнить своим дыханием все труды вселенной, хочу выполнить все поручения, хочу всем отомстить, хочу, чтобы написанными, высеченными оста-



лись мои слова, мои желания. Я только теперь начинаю. Ребенок рождается семи месяцев, человек же начинает жить в тридцать лет. Цветы расцвели, но плод должен созреть, прежде чем сгниет.

### К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ

К тридцати годам становится ясно, чего человек стоит в действительности, ибо уже подрастают более молодые. До тридцати лет приходится сражаться с пожилыми, и это более легкое предприятие. Мы судьи и палачи во имя вторгающейся силы незрелости, которой также нужно немного солнышка, чтобы цвести. Враги уже достигли своего, они знамениты, они устали и скрывают под горьким молчанием и кислой улыбкой подлюю ясность пресыщения. Они сидят и не хотят вставать. Они выжидают, терпят нас и, хотя на самом деле боятся, строят нам глазки и хотят нас уловить на приманку сердечности.

Но когда приходят другие, новые, свежие, первые потомки, мальчики, которым было десять лет и которые ходили в школу, когда нам было двадцать и мы уже нанесли первые удары, — тогда наступает день испытаний и расценок. Эти юноши нами же и питались, шли за нами по пятам, в течение долгого времени шли вслед за нами, но теперь пришел момент смены и совершеннолетия. Они чувствуют потребность возмутиться против самых близких и готовятся напасть на нас, как мы нападали на тех, кто старше нас. Если даже они на нас не нападают публично, они судят нас част-

ным образом — мы для них уже материал для исторической оценки. Они чувствуют уже свое превосходство над нами, они уверены, что превзошли или превзойдут нас с первым же сделанным ими прыжком. У нас нет к ним того любовного доверия, что связало нас с нашими сверстниками, что придавало нам духу в общей борьбе, что заставило нас понимать слабости и упущения нашей общей работы. Эти новопришедшие ничего не хотят знать: они люди иного времени, другого климата, у них другие, скрытые привязанности, другие связи, другие антипатии. Они холодно идут вперед, во имя принципов данного дня, выраженных в формулах легкого обращения: они жестоки, как дети, и не деликатны, как грабители. Они принадлежат к другой расе, говорят на другом языке. Мы можем встречаться, работать рядом, разговаривать, друг другу улыбаться, но мы друг друга не понимаем. Я чувствую, что мы друг друга недолюбливаем. Я чувствую, что над моей головой висит их презрительное осуждение, их высокомерный приговор.

Но вот: я не хочу разыгрывать из себя ни мертвеца, ни великого человека, каким и по отношению к нам старались быть многие из наших стариков. Я не хочу притворяться, что не вижу их, не хочу прятать голову под грудой книг или заворачиваться в императорскую тогу довольной жертвы. Ничего подобного. Я — я, а они — они. Мы сведем счеты. Я не боюсь новых, как не боялся старых. Я готов открыть все свои карты и защищаться зубами и ногтями, словами и мыслями, как дикарь и как цивилизованный человек. Я не отступаю, и не сдаюсь. Я сказал уже: я не конченный чело-



век. Название этой книги неверно: хорошо и это. Здесь человек, который намерен дорого продать свою шкуру, который хочет кончить возможно позже.

Я не презираю молодых и не ненавижу их. Я сделал для некоторых из них все, что я мог. Я не оттолкнул их. Я обходился с ними резко, когда полагал, что они достойны выслушать правду от мужчины. Я ждал их, желал их, поджидал их при переходе от двадцати к двадцати пяти годам, чтобы видеть, на что они были способны, что в них было. Я хотел их более страстными, более индивидуальными, менее серьезными, менее фонографичными. Но это не важно: я уважаю их и такими, каковы они есть. Если они делают посредственные вещи или пишут глупости, я их не осуждаю. Нужно сделать много дурных вещей прежде, чем сделаешь одну сносную. Никто не является в двадцать лет с готовым великим произведением в ящике письменного стола. Я надеюсь, что они еще создадут его и, если смогут осуществить то, чего я не смог, они пройдут по мне без укоров совести.

Но и унижаться перед ними я не хочу. Я не хочу исчезнуть, не сопротивляясь до последнего издыхания. Если найдется кто-нибудь, кто думает, что может давать мне пощечины и топтать меня раньше времени, без всякого права, он увидит перед собою живого вооруженного человека, а не безжизненный труп. Чтобы иметь право разрушать, надо и строить, чтобы побеждать, надо лить кровь из ран.

Так - то, детки! Эти тридцать лет жизни, эти двадцать лет умственной жизни, эти десять лет литературы я мог, быть может, лучше употребить.

Но я все же кое-что сделал. Я принимал участие в умственных течениях, я создавал их: я основывал журналы, напечатал полдюжины книг; распространял идеи, все равно, безумные, глупые или глубокие — направо и налево. Я некто, представляю собою нечто, у меня есть прошлое, и во что бы то ни стало я хочу иметь будущее.

А вы? Что вы сделали, что делаете? Посмотрим: статьи, рецензии, критика — критика, статьи и рецензии. Вы умны, спору нет, вы образованы, но пока вы, если я не ошибаюсь, ухватились за чужие дома, живете на счет тех, кто что-то сделал, вы кладете себе под каблучки чужие книги, чтобы стать выше. Кое-кто из вас сделал или делает кое-что в области искусства: прекрасно. Критиковать трудно, но делать еще труднее. Увидим.

А я вовсе не хочу, чтобы со мной можно было покончить просто, как дважды два четыре. Я не хочу быть растоптанным без протеста. И для вас, именно для вас, главным образом для вас я написал эту драматическую историю моего мозга.

Вот я: я вскрыл, я разрезал себя; я обнажил свои внутренности и нервы, как на анатомических рисунках. Если вы захотите, вы сможете познаться с моим настоящим я и избежать опрометчивых суждений. Вы найдете здесь не биографию мою, а точное течение событий моей внутренней жизни. Все остальное в моей деятельности находит здесь свое объяснение, свой ключ. Это не произведение искусства: это исповедь самому себе и другим. Вы встретите здесь сентиментального резкого мизантропа, который, с божьей помощью стал антипатичен стольким людям. Я передаю в ваши руки свой дух, раскрываю вам



свои документы, свою защиту. На основании и посредством этого вы меня и судите. Я буду продолжать действовать, работать с вами, подле вас, но один период моей жизни закончен, и я хочу, чтобы считались с этим моим беспорядочным излиянием в пятидесяти главах.

Я предстал пред ваши холодные очи со всеми своими горестями, надеждами и слабостями. Я не прошу ни милости, ни снисхождения, ни похвал, ни утешений, — а только трех-четырех часов вашей жизни. И если, после того как вы меня выслушали, вы все еще, несмотря на все сказанное мною, будете считать, что я действительно конченный человек, — вы, по крайней мере, должны будете признать, что я погиб потому, что хотел добиться слишком многого, что я — ничто потому, что хотел быть всем.

Перевел с итальянского

*Р. Да-Рома.*

## Оглавление

### ANDANTE

|                              | СТР. |
|------------------------------|------|
| Полу-портрет . . . . .       | 9    |
| Сотня книг . . . . .         | 14   |
| Миллион книг . . . . .       | 18   |
| От всего ни к чему . . . . . | 26   |
| Триумфальная арка . . . . .  | 37   |
| Бедность . . . . .           | 41   |
| Моя природа . . . . .        | 46   |

### APPASSIONATO

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Открытие зла . . . . .                      | 53 |
| Другие . . . . .                            | 58 |
| Он . . . . .                                | 65 |
| Открытие единства . . . . .                 | 73 |
| Мир — это я . . . . .                       | 76 |
| Ничто не истинно, все — дозволено . . . . . | 81 |
| Новое кипение . . . . .                     | 85 |

### TEMPESTOSO

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ночной доклад . . . . .         | 93  |
| Дворец Даванцати . . . . .      | 101 |
| Выход в свет . . . . .          | 105 |
| Бегство от реальности . . . . . | 111 |
| Умершие братья . . . . .        | 119 |
| Живая мелюзга . . . . .         | 126 |
| Я и любовь . . . . .            | 132 |



## SOLENNЕ

стр.

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Миссия . . . . .                    | 143 |
| Совершенство . . . . .              | 153 |
| Талант . . . . .                    | 157 |
| Dies irae . . . . .                 | 162 |
| Действовать! . . . . .              | 171 |
| На пути к новому миру . . . . .     | 177 |
| Завоевание божественности . . . . . | 182 |

## LENTISSIMO

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Спуск . . . . .                     | 193 |
| Я виню только самого себя . . . . . | 196 |
| Позорные дни . . . . .              | 200 |
| Чего вам от меня нужно? . . . . .   | 203 |
| Слава . . . . .                     | 205 |
| А если бы даже . . . . .            | 208 |
| Я глуп . . . . .                    | 211 |
| И невежествен . . . . .             | 214 |
| Я не знаю людей . . . . .           | 217 |
| Вдохновение . . . . .               | 221 |
| Мои долги . . . . .                 | 223 |
| Шут . . . . .                       | 227 |
| Каплю уверенности . . . . .         | 231 |
| Я хочу зла . . . . .                | 235 |
| Гибель тела . . . . .               | 237 |

## ALLEGRETTO

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Смерть . . . . .                 | 245 |
| Именно поэтому . . . . .         | 247 |
| Возвращение на землю . . . . .   | 254 |
| Кто я? . . . . .                 | 262 |
| Заявление о стиле . . . . .      | 267 |
| Я не конченный человек . . . . . | 270 |
| К новому поколению . . . . .     | 274 |